

ISSN 2312-7899 (print)
ISSN 2408-9176 (online)

ПРАΞΗΜΑ

проблемы визуальной семиотики

2 0 2 2

№ 2 (32)

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРАΞИΜΑ

ПРОБЛЕМЫ ВИЗУАЛЬНОЙ СЕМИОТИКИ

Научный журнал

2022

№ 2 (32)

ПРАΞΗΜΑ. Проблемы визуальной семиотики. 2022. № 2 (32) [18+]

Главный редактор

В. В. Обухов (Томский государственный педагогический университет)

Заместители главного редактора

С. С. Аванесов (Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого)

И. В. Мелик-Гайказян (Томский государственный педагогический университет)

Ответственный секретарь

М. С. Горбулёва (Томский государственный педагогический университет)

Редакционная коллегия

Е. В. Афонасин (Институт философии и права СО РАН, Новосибирск)

М. Н. Вольф (Институт философии и права СО РАН, Новосибирск)

И. Н. Инишев (Высшая школа экономики, Москва)

С. Б. Куликов (Томский государственный педагогический университет)

А. М. Лидов (Научный центр восточнохристианской культуры, Москва)

М. Моравчикова (Трнавский университет, Словакия)

К. Е. Осетрин (Томский государственный педагогический университет)

О. В. Рыбчинский (Национальный университет «Львовская Политехника», Украина)

В. В. Савчук (Санкт-Петербургский государственный университет)

Н. И. Сазонова (Томский государственный педагогический университет)

В. А. Суровцев (Томский государственный университет)

В. А. Суханов (Томский государственный университет)

П. Я. Ференски (Вроцлавский университет, Польша)

А. И. Щербинин (Томский государственный университет)

Редакционный совет

Т. Андина (Туринский университет, Италия)

Р. Г. Аapresян (Институт философии РАН, Москва)

О. А. Донских (Новосибирский гос. университет экономики и управления)

И. Т. Касавин (Институт философии РАН, Москва)

Л. Карали (Национальный университет, Афины, Греция)

Е. Н. Князева (Высшая школа экономики, Москва)

В. В. Лепахин (Университет г. Сегед, Венгрия)

Т. С. Симян (Ереванский государственный университет, Армения)

Н. В. Ссорин-Чайков (Высшая школа экономики, Санкт-Петербург)

И. Топп-Вуйтович (Вроцлавский университет, Польша)

Е. Р. Ярская-Смирнова (Высшая школа экономики, Москва)

Учредитель:

ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет»

Адрес учредителя: ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061. Тел.: (3822) 52-17-54

Адрес редакции: ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061. Тел.: (3822) 52-06-17

E-mail: praxema@tspu.edu.ru

Электронная версия журнала: <http://praxema.tspu.edu.ru>

Отпечатано в типографии ТГПУ: ул. Герцена, 49, Томск, Россия, 634061. Тел.: (3822) 31-14-84

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77 – 57493

Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Подписано в печать: 25.02.2022 г. Дата выхода в свет: 25.03.2022 г. Формат: 70×100/16. Бумага: офсетная.

Печать: трафаретная. Усл.-печ. л.: 10,9. Тираж: 500 экз. Цена свободная. Заказ: 1206/Н

Выпускающий редактор: Л. В. Домбраускайте. Технический редактор: Н. Н. Сафронова

© Томский государственный педагогический университет, 2022. Все права защищены

MINISTRY OF EDUCATION OF RUSSIAN FEDERATION
TOMSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY

ПРАΞΗΜΑ

JOURNAL OF VISUAL SEMIOTICS

2022

№ 2 (32)

ИПАЭХМА. Journal of Visual Semiotics. 2022. № 2 (32) [18+]

Chief Editor

Valery Obukhov (Tomsk State Pedagogical University, Russia)

Deputy Chief Editor

Sergey Avanesov (Yaroslav-the-Wise Novgorod State University, Russia)

Irina Melik-Gaykazyan (Tomsk State Pedagogical University, Russia)

Executive Secretary

Maria Gorbuleva (Tomsk State Pedagogical University, Russia)

Editorial Board

Eugene Afonasin (Institute of Philosophy and Law, Siberian Branch
of the Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, Russia)

Piotr Jakub Fereński (University of Wrocław, Poland)

Ilya Inishev (Higher School of Economics, Moscow, Russia)

Sergey Kulikov (Tomsk State Pedagogical University, Russia)

Alexei Lidov (Scientific Center of Eastern Christian Culture, Moscow, Russia)

Michaela Moravčíková (University of Trnava, Slovakia)

Konstantin Osetrin (Tomsk State Pedagogical University, Russia)

Oleh Rybchynskyi (Lviv Polytechnic National University, Ukraine)

Valery Savchuk (Saint-Petersburg State University, Russia)

Natalia Sazonova (Tomsk State Pedagogical University, Russia)

Alexei Scherbinin (Tomsk State University, Russia)

Vyacheslav Sukhanov (Tomsk State University, Russia)

Valery Surovtsev (Tomsk State University, Russia)

Marina Vol'f (Institute of Philosophy and Law, Siberian Branch
of the Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, Russia)

Editorial Council

Tiziana Andina (University of Turin, Italy)

Ruben Apressyan (Institute of Philosophy, Moscow, Russia)

Oleg Donskih (Novosibirsk State University of Economics and Management, Russia)

Elena Iarskaia-Smirnova (Higher School of Economics, Moscow, Russia)

Lilian Karali (National and Kapodistrian University of Athens, Greece)

Ilya Kasavin (Institute of Philosophy of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia)

Helena Knyazeva (Higher School of Economics, Moscow, Russia)

Valerij Lepahin (University of Szeged, Hungary)

Tigran Simyan (Yerevan State University, Armenia)

Nikolai Ssorin-Chaikov (Higher School of Economics, St. Petersburg, Russia)

Izolda Topp-Wójtowicz (University of Wrocław, Poland)

Founder:

Tomsk State Pedagogical University

Address: ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061. Tel.: +7 (3822) 52-17-54

Corresponding address: ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061. Tel.: +7 (3822) 52-06-17

E-mail: praxema@tspu.edu.ru

Online version: <http://praxema.tspu.edu.ru>

Printed in the TSPU publishing house: ul. Gerzena, 49, Tomsk, Russia, 634061. Tel.: +7 (3822) 31-14-84

Certificate PI № FS 77 – 57493

by the Ministry of Mass Communication of the Russian Federation

Approved for printing on: 25.02.2022. Date of issue: 25.03.2022. Format: 70×100/16.

Paper: offset. Printing: screen. Edition: 500. Price: not settled. Order: 1206/H

Production editor: L. V. Dombrauskayte. Text designer: N. N. Safronova

© Tomsk State Pedagogical University, 2022. All rights reserved

СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬИ

<i>Дружинин А. С.</i> (Московский государственный университет международных отношений, Россия) Кино как метод наблюдения в лингвистике и не только: на пути к эмпирической науке	9
<i>Костина А. О.</i> (Институт философии РАН, Россия) Визуализация и концептуализация данных академических цифровых платформ: преемственность проблем организации знания и новые вызовы	30
<i>Кутузова А. А.</i> (Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Россия); <i>Шульман Е. М.</i> (Московская высшая школа экономических и социальных наук, Россия; Королевский институт международных отношений Чатем-Хаус, Великобритания) Интернет-мемы как индикатор общественной реакции и инструмент обратной связи в период пандемии	46
<i>Марков А. В.</i> (Российский государственный гуманитарный университет, Россия) Иконология изобразительных элементов «Стихотворений» князя Владимира Палея	68
<i>Михель Д. В.</i> (Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Россия; Институт всеобщей истории РАН, Россия; Институт научной информации по общественным наукам РАН, Россия); <i>Резник О. Н.</i> (Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова, Россия) Символы защиты достоинства и личности человека: философия и теология в России перед вызовом биотехнологической революции в медицине	88
<i>Мозгунова А. Д.</i> (Московский городской педагогический университет, Россия; Московский государственный университет международных отношений, Россия) Японская реклама сквозь призму прецедентных феноменов: идеи и образы	112

Никифорова Л. В. (Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой, Россия)
 Визуальные медиа XVIII века:
 балет «Новые аргонавты» и празднование
 Чесменской победы в 1770 году 136

Филас В. Н. (Хортицкая национальная академия, Украина);
Иванова Б. (Университет строительства и архитектуры «Любен Каравелов»,
 Болгария)
 Воображая Одессу: европейские стереотипы
 и убеждения первой половины XIX века
 (на примере работы Л. Гарнерея) 157

Хадем Махсус Хоссейни Л. (Независимый исследователь, Иран);
Джаббаринасир Х. (Московский государственный университет
 международных отношений, Россия; Институт социальных и культурных
 исследований Министерства науки, исследований и технологий, Иран)
 Исследование российской биополитики
 в сфере женской красоты и заботы о здоровье 172

ЭССЕ

Родин К. А. (Институт философии и права СО РАН, Новосибирск, Россия)
 «Кроткая» Робера Брессона 190

Сведения об авторах 203

CONTENTS

ARTICLES

<i>A. Druzhinin</i> (MGIMO University, Russia) Cinematic observation in linguistics and beyond: Towards an empirical science	9
<i>A. Kostina</i> (Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences, Russia) Data visualization and conceptualization on academic digital platforms: The succeeded issues of knowledge storage and the new challenges	30
<i>A. Kutuzova</i> (Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Russia); <i>E. Schulmann</i> (Moscow School of Social and Economic Sciences, Russia; Royal Institute of International Affairs, United Kingdom) Internet memes as a public reaction indicator and a feedback tool during the pandemic	46
<i>A. Markov</i> (Russian State University for the Humanities, Russia) Iconology of the pictorial elements of <i>Poems</i> by Prince Vladimir Paley	68
<i>D. Mikhel</i> (Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Russia; Institute of World History, Russian Academy of Sciences, Russia; Institute of Scientific Information for Social Sciences, Russian Academy of Sciences, Russia); <i>O. Reznik</i> (Pavlov University, Russia) Symbols of human dignity and identity protection: Russian philosophy and theology facing the challenge of the biotechnology revolution in medicine	88
<i>A. Mozgunova</i> (Moscow City University, Russia; MGIMO University, Russia) Japanese advertisements and commercials in the context of precedent-related phenomena: Ideas and images	112

<i>L. Nikiforova</i> (Vaganova Ballet Academy, Russia) Eighteenth-century visual media: <i>The New Argonauts</i> ballet and the celebration of the Chesme victory in 1770	136
<i>V. Filas</i> (Khortytsia National Academy, Ukraine); <i>B. Ivanova</i> (University of Structural Engineering and Architecture "Lyuben Karavelov", Bulgaria) Imagining Odessa: European stereotypes and beliefs in the first half of the 19th century (on the example of a work by Louis Garneray)	157
<i>L. Khadem-Makhsuos-Hosseini</i> (Independent Researcher, Iran); <i>H. Jabbarinasir</i> (MGIMO University, Russia; Institute for Cultural and Social Studies Ministry of Science, Research and Technology, Iran) A Study of Russian biopolitical techniques in women's beauty and health care	172

ESSAYS

<i>K. Rodin</i> (Institute of Philosophy and Law, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Russia) <i>A Gentle Woman</i> by Robert Bresson	190
Authors	203

СТАТЬИ / ARTICLES

CINEMATIC OBSERVATION IN LINGUISTICS AND BEYOND: TOWARDS AN EMPIRICAL SCIENCE

Andrey S. Druzhinin

MGIMO University, Moscow, Russian Federation
andrey.druzhinin.89@mail.ru

The article raises the problem of methodology in the language science and discusses a possible way of solving this problem by recognizing films as a source of observational scientific data. The article claims that the reliance of classical linguistics upon logical analysis and interpretation as a sufficient method of research with texts as primary sources of data is a fallacy. This fallacy is accounted for by a number of epistemological factors. Firstly, science generally concerns itself not with what things are, but how they appear to the standard observer in the process of interaction. Language, oppositely, is studied as a self-sufficient sign system in and of itself. Secondly, any science constructs its object and produces valid knowledge about this object on the basis of empirical data put together in a logical way, which means that theory and observation are two co-dependent technologies of science ensuring that any claim about the experiential world is verified and “life-tested”. In linguistics, conversely, such an empirical test and verification of claims is replaced by a logical procedure of interpretation and analysis on the basis of texts, which is far from empirical evidence, but rather appears as another set of claims. In other words, texts take on the role of empirical data in linguistics, which is wrong for one simple reason that texts are logical interpretations devoid of any perceptual dynamics and, therefore, unable to be observed. In order to break with such a product-oriented approach and the logico-positivist tradition, and study language beyond written texts only, especially given that illiterate people are language users too, linguistics needs to take an empirical turn. To make this turn possible, linguists need to reconsider the empirical role motion pictures play in the study of how a human’s experiential world is enacted and constructed into a coherent story. Recognizing that films make the work of somebody else’s imagination observable, linguists and cognitive scientists as well could make practical use of cinematic observations as a primary source of evidence for claims about how a human imagines things, constructs meanings, communicates with others, and uses language in general to make all of those things possible. The article elaborates on the cinema-mediated empirical methodology of language studies and specifies what types of observable actions (or their implications) upon linguistic objects we can find in films, including attentional processes, the dynamics of the lived experience, emotioning and sensorimotor

activity. As opposed to apparatus theory, the conception of language as experiential dynamics observable in films fits in with the philosophy of radical constructivism and enactivism according to which a human, by analogy with an actor, *enacts* the world as a (biological, social and cultural) history of her previous actions, these enactments becoming the world itself.

Keywords: primary sources of evidence, language data, experiential world, lived experience, eigenbehavior, enactivism, radical constructivism.

КИНО КАК МЕТОД НАБЛЮДЕНИЯ В ЛИНГВИСТИКЕ И НЕ ТОЛЬКО: НА ПУТИ К ЭМПИРИЧЕСКОЙ НАУКЕ

А. С. Дружинин

Московский государственный университет международных отношений,
Россия

andrey.druzhinin.89@mail.ru

Обсуждается проблема методологии в науке о языке и предлагается возможный путь ее решения, который заключается в обращении к визуальной семиотике кинофильма как источнику эмпирических научных данных. Утверждается, что в основе методологического кризиса классического языкознания лежит принцип самодостаточности аналитической логики как единственного инструмента познания языковых данных, в роли которых выступают письменные тексты. Причины, по которым лингвистика оказалась в подобном кризисе, носят эпистемологический характер. Во-первых, наука изучает не столько то, что есть объект на самом деле, сколько то, как этот объект функционирует в процессе взаимодействия с точки зрения наблюдателя. Язык, напротив, рассматривается как абсолютизированная система знаков, существующая «в себе» и «для себя». Во-вторых, степень валидности научных знаний об объекте определяется логической связностью теоретического построения, упорядочивающего эмпирические данные о мире, что означает функциональную взаимосвязь теории и наблюдения, обеспечивающую науке опытную проверку и верификацию любых выдвигаемых гипотез и тезисов, доказательность которых не может исчерпываться другими гипотезами или другими тезисами. В лингвистике, однако, подобная верификация и проверка осуществляются методом логической интерпретации и анализа текстов, которые не являются источником эмпирических данных, а представляют собой продукты того же самого интерпретационного анализа. Такая методология создает порочный круг по той простой причине, что тексты не могут выступать в качестве эмпирической доказательной базы, поскольку лишены перцептуальной динамики, и поэтому их невозможно наблюдать ни в обыденном, ни в научном

смысле этого слова. Чтобы отойти от устоявшейся логико-позитивистской традиции и изучать язык не только на материале текстов, лингвистике необходим поворот в сторону эмпирического подхода. Такой поворот возможен, если признать эмпирическую ценность кинофильмов в изучении того, как экспериенциальный мир человека конструируется и «разыгрывается» в пределах сюжетной линии. Исходя из того, что работа человеческого воображения становится доступной для непосредственного наблюдения посредством кино, лингвистика и смежные дисциплины, включая когнитивные науки, могут использовать на практике данный эмпирический материал в качестве доказательной базы для различных утверждений о том, как человек воображает мир, конструирует значения, общается с другими и использует язык в целом, чтобы осуществить все эти когнитивные процессы. В статье подробно описывается и объясняется эмпирическая методология исследования языка, уточняется, какие виды действий и взаимодействий с семантическими объектам можно наблюдать косвенно или напрямую в кинофильмах (в частности, направление внимания, динамику пережитого опыта, эмоциональные и сенсомоторные процессы). Концепция языка как экспериенциальной динамики, наблюдаемой в фильмах, продолжает философские идеи радикального конструктивизма и энактивизма, согласно которым человек подобно актеру «разыгрывает», или генерирует в своих перцептуальных действиях, мир как биологическую, социальную, культурную историю всех предыдущих подобных действий.

Ключевые слова: первичные источники данных, языковые данные, экспериенциальный мир, пережитый опыт, *eigenbehavior*, энактивизм, радикальный конструктивизм.

DOI 10.23951/2312-7899-2022-2-9-29

What subject-matter, method, and primary sources are in science

Paradoxical as it may sound, linguistics and other sciences stand in a sort of opposition rather than function in an epistemological unity. The main reason is methodological. What linguistics claims to be empirical data (i.e. language data aka texts) sufficient for an investigation of language prove far from empirical from a meta-scientific point of view. To make this problem more explicit, I will elaborate on the main universal principles of scientific knowing and learning.

First and foremost, let us address the question, What does science investigate? If the answer is 'nature' or 'nature of things', there is still one reservation. Nature cannot investigate itself. Taking this reservation into account, Werner Heisenberg said that the "the object of research is

no longer nature as such, but a nature *confronted by human questions*" [Heisenberg 1958, 18] (emphasis is added) and "[t]he deeper the scientist looks, the more he sees himself" [Heisenberg 1958, 17].

Much earlier, Henri Poincaré expressed a similar idea that nature has a bodily form and space is what corresponds to the way our muscles work and our body moves. "If we did not have solid bodies, there would be no geometry" [Poincaré 1902, 51]. Poincaré's legacy laid the groundwork for Albert Einstein's revolutionary theory of physics, physical objects and reality. "Real external world is set in the conceptual form of bodily objects of different kinds which owe their meaning, but are not identical, to the totality of sense impressions associated with these objects" [Einstein 1936, 350]. "Physical concepts are free creations of the human mind, and are not, however it may seem, uniquely determined by the external world" [Einstein & Infeld 1967, 31].

Another great physicist Paul Bridgman dismissed the idea of absoluteness or 'true nature' as scientifically meaningless. "An object with identity corresponds exactly to nothing in nature" [Bridgman 1958, 35]. There is not much sense in asking what an object really is, it is more scientifically relevant to understand what we do with it. Any object always comes with the subject because "knowledge and matter (Subject and Object) exist only relatively one for the other and constitute phenomenon" (emphasis in the original) [Schopenhauer 1903, 237]. As Niels Bohr put it, "in our description of nature the purpose is not to disclose the real essence of the phenomena but only to track down, so far as possible, relations between the manifold aspects of our experience" [Bohr 1987, 18].

Thus, the question that science deals with is not *what* an object is, but *how it appears* to the Subject in a particular context (domain, frame of reference) where the interaction between the Subject and Object takes place. This Subject in the process of interaction is usually referred to as the observer and the object of any scientific investigation should be more accurately described as the domain-specific observer's experience. With this in mind, we should proceed with an understanding of science as the domain of scientific statements that rests on operational coherence and that "does not need an objective independent reality, nor does it reveal one" [Maturana 1988, 4].

Such a construal of scientific knowing seems to agree with the way modern science comes to conceptualize observation and experiment. As what Thomas Kuhn once suggested, a scientist chooses for her experimental observation only those perceptions which indicate opportunities for the fruitful elaboration of an accepted theoretical paradigm

[Kuhn 1970]. Thus, any observation cannot but come under the influence of “what the scientists have in mind”, which guarantees “coherence between theoretical and empirical information” [Kosso 2011, 22]. It means that a scientist chooses to investigate her own experience with the world where ideas and perceptions reciprocate each other.

The next question arising is, How does science investigate what it does? There is no better answer than the one given by Einstein that all science “co-ordinate[s] our experiences and bring[s] them into a logical order” [Einstein 1955, 1]. To co-ordinate and order experiences, we must have them, and this is where empirical interaction with the world comes into play. To put it simply, the scientific method is based upon observation and logical interpretation, which works in the following way. A scientist constructs a coherent and reliable explanation of what she observes so that this explanation (hypothesis) could serve as a prediction about how, where and when the observed phenomenon can be repeated again. Explanations are theoretical tools invented by scientists to make the experiential world more predictable and manageable [Glaserfeld 1995, 117].

Logic and observation are two reciprocally dependent ways of scientific knowing. Logic underlies the coherence of theorizing about what we observe, observation proves and verifies what we cohere in our theories.

The point made above explains why it is observation that comes first as evidence for scientific claims while logical interpretation (i.e. other claims) comes second. Primary sources of evidence are empirical data. Empirical evidence is information acquired by observation or experimentation, in the form of recorded data, which may be the subject of analysis. Secondary sources describe, discuss, interpret, comment upon, analyze, evaluate, summarize, and process primary sources [Audi 2001, 293].

Senses and perception in general are raw material upon which experience builds. In science, raw material is first-hand source, first-hand is more reliable and feels more ‘real’. In Arthur Schopenhauer’s terms, our objective view of the world comes from nothing but our sensation understood by our reason as a logical effect of something happening ‘out there’: “[N]othing objective can ever lie in any sensation. ... [T]he Understanding conceives the given corporeal sensation as an effect. ... It is therefore the Understanding itself which has to create the objective world ... [I]n fact, the senses supply nothing but the raw materials which the Understanding at once proceeds to work up into the objective view of a corporeal world” [Schopenhauer 1903, 61].

Where linguistics stands and why it should move on

Since (and long before) Ferdinand de Saussure elevated linguistics to the status of a separate science, its theoretical apparatus and practical framework have not undergone much change and can be formulated in the following way:

1) The subject matter of linguistics is the content of language, i.e. language in and of itself (linguists concern themselves mainly with the structure, function, form and meaning of semantic units, concepts, propositions and their relationship).

2) The method is logical interpretation.

3) Primary sources of data are texts.

There are a number of reasons why this methodological tradition has become deeply ingrained in the language science. Firstly, the view of language as a self-sufficient object of research rests upon the classical “tele-mentational model” of communication [Harris 1981], a lay understanding of how people interact with each other by means of symbols, scientifically legitimized by Saussure and later reinforced in the computer-mind metaphor [Gardner 1985]. According to this model, people send (encode) and receive (decode) messages aka linguistic signs. Consequently, language begins to be viewed ontologically as some elaborately designed system existing even genetically [Chomsky 1975]. Secondly, there has always been a strong influence of cartesian dualism and analytic philosophy on the conceptualization of language, which has been taken to such an extreme that I may term it ‘ternarism’. It means that the fundamental mind-matter dichotomy turns into a triad with the arrival of language as the latter is placed somewhere in between and is radically segregated from both the material (physical) and mental worlds. Thinking (knowing), language (wording, naming) and bodily behavior (speech production in a physical sense) are separate activities. There are semantic, mental and material objects that we need to distinguish [Ogden & Richards 1923]. Language is what represents how things stand, but it may not be what is really ‘out there’ or what we really feel or what we really think. That is why we do not need empirical evidence to study language objectively. This thesis also found favor with those linguists who wanted an alternative, but not less convenient view of language as a self-sufficient system. This novel ideology took the form of logical positivism and was proposed by Ludwig Wittgenstein [1922] who believed that language is what matter consists of and consists in. The external world is nothing short of logical language and facts put in propositions are what we live by. Therefore, claims about facts of language do not need to be put to an empirical

or experiential test. Logical consistency is enough, just like in mathematics. In view of what has been said, the last reason explaining why texts are accepted as a sufficient source of evidence in linguistics seems quite obvious. Text is a constellation of static marks on paper conveniently available for analysis and interpretation. Inscriptions are products of writing, are easily objectified, and give a sense of objectivity. Texts have been the dominant technology of language also because “it is in the development of literacy, in the schooling needed for learning to read and write, that theories of language structure have become necessary” [Linell 2005, 5]. However, there are certain grounds upon which it is possible to claim that there is something wrong with the understanding of language, language data and methods of their investigation presented above. I will summarize arguments based on epistemology and philosophy of science.

1) As for the subject-matter, first of all, language is a generalized concept that cannot be directly experienced or interacted with. For example, let us take the concept of light in physics. “We never experience light itself, but our experience deals only with things lighted” [Bridgman 1958, 151]. Similarly, we never experience language itself, but *bodily behaviors through which it is* (or appears to be) *spoken*. Secondly, it follows, content of words is always relative and depends upon the interaction and the viewpoint of the observer. “The relative meaning of every concept, or rather of every word,” depends “on our arbitrary choice of viewpoint” [Bohr 1987, 96]. Thirdly, there is no transmission of information, meanings or any other types of language content. We cannot exchange meanings, we can only produce voice, or noise, and visible signals that can (or fail to) be perceived by somebody else. Only then these signals come to be linguistically interpreted based upon another’s experience [Glaserfeld 2006, 3]. Let us take babies, for example. A parent knows that she cannot transmit any semantic content into a new-born child, the only possible thing is to affect the baby’s behavior by means of vocal sounds and observe the reaction.

2) As for the method, the sufficiency of logical interpretation and analysis by analogy with mathematics seems to be questionable for one simple reason that language is observable through communicative behaviors whose dynamics can be unpredictable and illogical in many ways. Meaning is something communicatively searched for in the state of confusion [Watzlawick 1977, 27], “there is no understanding without misunderstanding” [Puljic & Puljic 2020, 108] and “if we spoke logically all the time, we would never get anywhere. We would only parrot all the old clichés” [Bateson 1972, 15]. That language is viewed as a representation of the real world or of our knowledge is another logical flaw.

In order to make sure that the world and its linguistic representation are two different things, we have to compare them. In an act of comparison we have to attend to one independently of the other. This independence is impossible because there is no such a thing as a representation of nothing, or the nameless world.

3) Texts are somebody's interpretations and in no way are they primary sources of data because we cannot observe an interpretation. Besides, "[A] text is often itself no more than an interpretation of texts that the author has read. Primary literature is nearly always to a large extent secondary literature to other texts" [Mitterer 2013, 144]. Moreover, written texts are devoid of real-time interaction, experiential context and are not always reliable from the communicational point of view. A tape-script of a trial will tell us very little about the way people used words and understood their meanings during the trial. Lastly, there are 781 million illiterate people who cannot write and read texts but still are language users. This means that either text-oriented studies are not studies of 'real' language or there is something wrong with the way 'real' language data are understood or (most probably) both.

To solve the described epistemological problems linguistics is riven with, one needs to shift away from the static, product-oriented view of language to a dynamic, process-oriented one [Linell 2005, 20]. Probably, the time has come to study not simply what a person says (or rather, writes), but *how a person acts upon what she (thinks she) says*. This shift implies a method of observing such actions. It is not fair to say that these are hardly observable because we can easily watch a child moving her eyes and the whole body in search of things as we name them (e.g. "Where is the dog? Where is the toy?"). It would be more fair to say that such bodily movements become impossible to watch in the process of naming when the named objects are not around. Yet, this is where films and cinematic observations can help.

Studying language in motion

To prove why films can be a reliable source of empirics in investigating language, I will first make it explicit how language can be understood as a dynamic interactional process accessible for observation rather than a static text accessible for interpretation only.

A methodological shift from a textological towards an empirical approach to language implies the presumption of interactional dynamics in which the subject constructs meanings, concepts and other 'linguistic

units' on the basis of her interactive experience with the world. This change in approach requires us to define the object of language study in such a way that either it could be directly observable or observable implications could follow from it and we could empirically test what we hypothesize about this object. The time has come to recognize that "the linguistic universe is populated not by mysteriously unobservable objects called 'languages' but by observable human beings who somehow and sometimes manage to communicate with one another" [Harris & Wolf 1998, 19].

As follows from the epistemological overview of science and scientific method, an object of study is a domain-specific item of observer's experience. In physics, for example, physical objects are those which the subject experiences sensorially in a domain of bodily interactions. In the domain of the linguistic science, it should be a semantic object with which the subject interacts both perceptually and conceptually. Perceptually – in the sense that all our understanding of words comes as a result of our perceptual experience of communicative behaviors as well as the situational setting where these behaviors take place. Conceptually – in the sense that we need to interpret what we see, hear, smell, etc. For the sake of clarity, I will present the structure of this interaction in the following scheme:

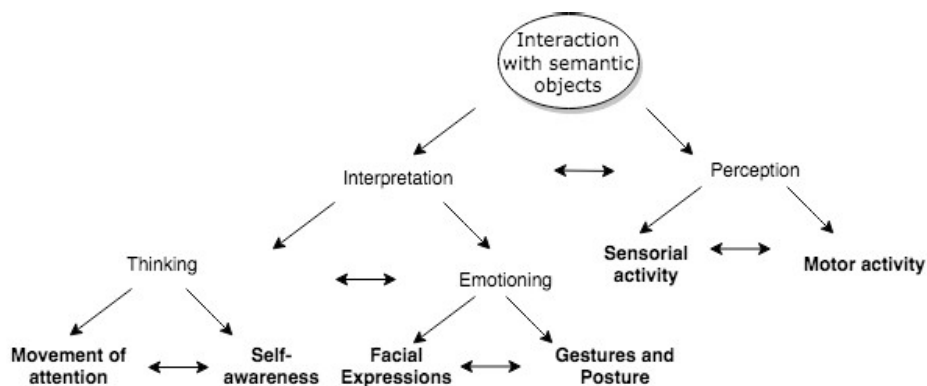


Figure 1. The structure of linguistic interactions

Movement of attention as part of thinking processes implies the dynamics of attentional focalizations on objects both in and outside of the perceptual field. Self-awareness presupposes the history of such focalizations, or, in plain terms, the lived experience which ensures the coherence in the succession of attentional objects and the ability to focus attention on something that is not immediately perceived. Emotioning

[Maturana 2006] is the dynamics of positive-negative evaluation of the results of all interactions with the object. Emotioning implies such observable bodily behaviors as facial expressions, posture adopting and gesturing. Sensorimotor dynamics is a perceptual activity taking place where/when a word is used or linguistic meaning is conceived. Two-way arrows mean that the procedural components of one whole process reciprocate each other and cannot be viewed statically as separate parts.

Another important detail that should be added is the question of choice between different genres of films. Are feature films better than documentaries for a linguistic study? They definitely are, for a reason. Documentaries are by definition based on the ontological assumption of reality as they pursue the aim of showing, or, rather, telling, 'as it really was'. They are aimed at the external (objective) view of events leaving the internal perspective of a subject's experience behind. In other words, the events represented in documentaries are not events as such but, in most often cases, their written (documented) account compiled and interpreted in a particular manner. It means that what we deal with in documentaries is a ready-made history as a text-based record of 'facts' and 'reality'. Conversely, for an insight into a linguistic behavior we need to observe the construction, the process of making of such facts and reality in the mind of a subject.

Does the choice of experimental film, or avant-garde cinema, elevate or diminish the value of empirical linguistic research? In my opinion, this choice concerns the question of representativeness of empirical data, and, to be able to decide upon the research value of non-traditional films, the researcher needs to follow the old-good sociological principle of sampling. The more people are represented by a selected subset, the better. In our case, this should read as follows: the more people find a selected film relatable, the better. This relatability factor is measurable today when we turn to official ratings of popular approval, viewing statistics or evidence of the critics' recognition and audience reception of the film (such as awards, reviews, etc.). Therefore, conventionality or non-conventionality of a film is not something we should first consider when making a choice as long as this choice is well-informed – what counts is representativeness of the chosen film.

Motion picture as a primary source of evidence

As was stated above, linguistics, as long as it is concerned with a study of language as a dynamic and empirically grounded phenomenon, goes

far beyond textology. Texts as analytical products “freeze phenomena in motion”, that is why an “extended use” of empirical data may need to involve not only descriptions, but also *depictions*. Films might be those “representational media” which help visualize the dynamics and motion of linguistic interactions [Linell 2005, 220] and whereby offer observational data for language research.

The main reason for this claim is that films are recordings of observable acting upon linguistic objects whose structure I discussed above. Perception, emotioning and even thinking become observable in a motion picture.

Sensorial activity during a linguistic interaction is accessed through audiovisual representation of the subject’s hearing, seeing and even feeling (through musical inserts) things happening around at a particular point of time. Motor activity is observed through the visualization of how the subject’s body moves and what it does to interact with what is happening around at this point of time including the speech production activity itself. Thinking as what is happening inside the subject also becomes observable in a number of ways. Different filmmaking techniques (e.g. point-of-view shots, flashback, flashforward) can show on the screen how the attention of the subject moves from one experiential object to another at the same point of time when speech production and sensorial activities are taking place. The simultaneity is achieved by a voiceover and a coherent succession of film shots which, when viewed as a whole, make two parts of the experiential world easily distinguishable – the dynamics of what is happening *in* and *to* the subject. Self-awareness as a composite of all the subject’s (relevant) lived experience is easily followed as the story develops and can be reconstructed from the events that happened to the subject previously and are causally related to what is happening ‘here and now’. This lived experience can illuminate how the subject feels about what she says, does and thinks. Emotional reactions to what is said and emotional expression of what is said are observed in the process of communicative interaction and are often visually emphasized by a film director in close-ups. Thus, it may be concluded that films show us all basic types of a linguistic interaction in the cyclical flow of experience from inside-out and outside-in.

On a larger scale, the use of films as a source of empirical data may meet with opposition mainly because this choice is non-traditional and, as it might first appear, goes against the methodological principles of experimental science. This problem was under discussion in the recent issue of *Constructivist Foundations* [Bunnell 2020; Druzhinin 2020a;

Druzhinin 2020b; Fultot 2020; Scholte 2020], an authoritative philosophy of science journal. The academic debate is representative because it allows almost all the main arguments “for” and “against” to be explicitly formulated. Those who believe films to be unnatural or “impoverished” [Fultot 2020, 83] give the following reasons:

- (1) Films are fiction.
- (2) Films are pre-made.
- (3) Films lack spontaneous causation.
- (4) Fictional behavior cannot be observed.
- (5) Films are constrained by somebody’s imagination.
- (6) Films are composite interpretation of experience by several contributors.
- (7) Films are not experiments and thus are not a source of empirical evidence.
- (8) Films are designed to sell and entertain.

I will present the respective counterarguments explaining why films can be trusted to be a source of empirical data.

Reason (1) deals with the well-known dichotomy of fact vs. fiction in the framework of which it is claimed that whatever is fictional cannot work as evidence for or against something found in reality. However, it is not quite fair to dismiss films as having nothing to do with reality because fictional or ‘unreal’ is the assessment of the story told in them, not the *way* it is told. While the former always comes as an interpretation (although somebody may describe the plot as totally ‘real’, especially when it is based on a ‘true story’), the latter is something dependent on observation and comes *with* the viewers’ observation only. Observation of how the world changes in moving pictures can hardly be unreal and fictional. “Films produce coherent moving pictures that we can relate to our experience because our body moves and/or our mind coheres its movement in the same manner” [Druzhinin 2020b, 97]. Therefore, there are no grounds why the results of this observation cannot be legitimately accepted as ‘real’ empirical evidence. As was succinctly articulated by Edgar Morin, films are the reality of motion and forms: “The combination of the reality of motion and the appearance of forms gives us the feeling of concrete life and the perception of objective reality. Forms lend their objective structure to movement and movement gives body to forms” [Morin 2005, 118f].

Argument (2) is logically flawed because the fact that films are made before they are shown, i.e. the behavior of actors is carefully rehearsed, does not rule out the fact that this behavior is not worthy of scientific observation. We have many examples of behaviors that must be carefully

rehearsed before being observed by someone (e.g. acting during etiquette dinner). Preparation does not make such behaviors lose (it even helps them assume) the quality of being natural and socially valuable. That is why we do not have any reason to dismiss rehearsed human behaviors as experientially worthless.

The idea of spontaneous causation in (3) rests on understanding causality as part of an observer-independent world. Yet, observation is what is essential for a scientific investigation of the world and observation is impossible without the observer. In films, causation is always spontaneous from the observer's (viewer's) perspective: despite our predictions, we may never be sure how characters will behave and what will happen next.

Claim (4) about the impossibility of observation of fictional behavior [Fultot 2020, 83] contradicts the commonsensical understanding of observability. To be observable is to be accessible to sensorial perception (hearing and sight in the first place), therefore an audio-visually recorded human behavior is meant to be observable by definition.

Claim (5) that films are constrained by somebody's (e.g. the script writer's) imagination (*ibidem*) does not disprove, but proves my thesis explaining why it is scientifically essential to use moving pictures as data. Constraints of human imagination are the object of a genuine empirical study whose aim is to verify hypotheses about the (cognitive) mechanisms of language and experience construction. If we can observe how people can imagine things, we can obtain data and empirical evidence to test our theories about how people use language, create meanings and participate in sense-making activities.

Similarly, claim (6) about the composite interpretation of experience [Bunnell 2020, 84] is what makes films even more representative data for observation of how human imagination works and experience is built.

Claim (7) is common among those who believe that experiments are the only way to obtain valid empirical data. However, if one looks at it closer, experiments and films appear to share quite a few characteristics. Experiment is an experiential situation organized under controlled, explicitly specified conditions and always relies upon a repeatable procedure. It is not supposed to be "a causal observation on the street" but a carefully selected observation relevant to research objectives [Kosso 2011, 10]. In the same way, the constraints put upon a situation to be filmed are carefully described (even pre-scripted), the situation itself is controlled in accordance with the general principle of story-telling coherence and experiential viability (what is filmed must look the same as what is really happening or could really happen). These factors

make it easy for an observer (researcher) to make an informed choice of what to observe in her empirical research with a view to testing this or that hypothesis. To explain why films are a repeatable experience, Tom Scholte borrows Heinz von Foerster's term "eigenbehavior" referring to the repetitive pursuit of conceptual and phenomenal stabilities (eigenvalues) through conceptual and phenomenal structures (eigenforms) we have generated in this pursuit [Scholte 2020, 83] (Cf. [Foerster 2003, 261f]). He concludes that "[W]hen its central aim to develop and specify repeatable procedures guaranteed to engender consistent phenomenal experiences ... it does not seem unreasonable to designate the enterprise of experimental science *tout court* as the pursuit of eigenbehaviors. The same may be said of mimetic artistic practice" [Scholte 2017, 318].

Reason (8) does not justify the opinion that films are too "impoverished" for an empirical study. Commercial interests underlie many if not all scientific endeavors, especially given that researchers today are generally employed or specially funded by state to do their research in a most comfortable way. Entertainment is one of many functions of films that is not incompatible with the scientific value films may present as a projection of a human's experiential world. The reason is that entertainment and stress-relief practices can often become an object of scientific reflection and investigation in psychology, medicine, philosophy (e.g. philosophy of music).

Thus, the arguments brought from within philosophy of science show that there are enough epistemological grounds to recognize motion pictures as a primary source of empirical data for language studies and a viable alternative to experiments in other scientific disciplines.

A case study: Empirical investigation of counterfactuals and irrealis

In a case study I will demonstrate how linguistic research can be carried out on the empirical basis of a film. The subject-matter of my research is the grammatical and logical concept of counterfactuals, statements expressing the meaning of unreal situation or contrary-to-fact activities. 'If-would' propositions have long been investigated by grammarians and logicians who mainly presumed the duality of our world (the physical moment of speech vs. the moment spoken of; the actual vs. the imagined situation) and interpreted counterfactuals as

a misrepresentation, logically flawed picture of reality or, in more mystical terms, as unreality, alternative, or possible world. Counterfactuals are thus analyzed in terms of analytic philosophy and logical semantics where little is said about why and how a human behaves the way she behaves when she speaks or thinks in counterfactuals.

The first step of my investigation is to define what I set out to observe and interpret. The object of my interpretation is determined by the logico-linguistic paradigm in which this object 'was born', namely, I will need to proceed from the formal syntactical criteria by which linguists recognize counterfactuals, or conditionals (the so-called "second" and "third" types of conditionals, or statements with the use of a conditional clause and past simple or past perfect tenses of the verb); otherwise, I will not be investigating counterfactuals. The object of my observation though cannot be 'counterfactuality' or 'irreality'. What I can observe is the behavior and operations of a person (an actor) talking or thinking in terms of what I previously defined as counterfactuals. At this stage I am also supposed to have some preliminary hypothesis in mind, and this hypothesis will be that counterfactuals are a special form of understanding time.

The second stage of my empirical research is to observe and analyze what I made explicit before. This requires making an adequate choice of a film where a subject is seen to enact counterfactuals in her experience, i.e. where it is visually observable how the subject's experiential world (her emotioning, perceptual and attentional processes) is changing as she uses counterfactuals. The film suggesting itself for selection is *The Curious Case of Benjamin Button* (2008) where at some point (1:54:00 – 1:56:00) an 'if-it-had-happened-otherwise theme' is depicted from within the reflections of the main character. Benjamin learns about the accident that ruined Daisy's health and begins to think about the sequence of events that caused this accident. I will quote the movie script¹ and mark those events as 1–7:

"A woman in Paris was on her way to go shopping, but (1) she had forgotten her coat – went back to get it [...] Now a taxi driver had dropped off a fare earlier and (2) had stopped to get a cup of coffee [...] The taxi had to stop for a man crossing the street, who had left for work five minutes later than he normally did, because (3) he forgot to set off his alarm [...] And while Daisy was showering, the taxi was waiting outside a boutique for the woman to pick up a package, which hadn't been wrapped yet, because the girl who was supposed to wrap it (4) had

¹ Quote taken from *The Curious Case of Benjamin Button Screenplay* by Eric Roth, <https://www.goodreads.com/quotes/291367>

broken up with her boyfriend the night before, and forgot [...] When (5) the package was wrapped, the woman, who was back in the cab, was blocked by a delivery truck, all the while Daisy was getting dressed. (6) The delivery truck pulled away and the taxi was able to move, while Daisy, the last to be dressed, waited for one of her friends, (7) who had broken a shoelace [...]"

The most interesting thing appears later when Benjamin refocuses his attention on the same events but in the reverse order, and in this refocalization he enacts counterfactuals:

"And if only one thing had happened differently: if (7) that shoelace hadn't broken; or (6) that delivery truck had moved moments earlier; or (5) that package had been wrapped and ready, because (4) the girl hadn't broken up with her boyfriend; or (3) that man had set his alarm and got up five minutes earlier; or (2) that taxi driver hadn't stopped for a cup of coffee; or (1) that woman had remembered her coat [...]"

As we can visually observe, Benjamin's counterfactual way of acting is based on the same attentional objects as the factual way of acting. Nevertheless, two different sequences of attentional objects are observed, and this difference is the attentional direction in which they are built up. The film-making techniques make it possible to visualize Benjamin's attentional flow and we can see that he changes the ordering of events in his mind against the arrow of time. But 'time' in this context does not mean objective or cosmological time: if we start watching the film right at the moment when the second sequence of events is shown, we will not understand what is wrong with this second 'time'. To us, then, the second sequence of events could appear incoherent or strange. Only in comparison with the first sequence will we get the whole picture. Thus, we can assume that here time should be interpreted experientially [Simsky et. al. 2021, 8ff], and Benjamin in his reflection goes against his own linear flow of experience.

The last question is why does this change of direction happen in his mind? The observation and analysis of the character's lived experience, his facial and bodily expression give a definitive answer: the moment of the accident is dramatic, the meaning of the accident is of great importance as it changes Daisy's life forever destroying her ballet dancing career. The negative emotional feedback Benjamin gets from the accident makes him act counterfactually and deal with the drama by changing the negative outcome of the events into the positive. Here we come up to the most important thing which we would never understand without observing. The reverse order of the depicted situation is not only about the change of order, it is about the change of the situation itself. This

cognitive trick is easily observable in this film: as Benjamin refocuses his attention on the events in the reverse order, they *make a difference* to him: Daisy's devastating injury is prevented. This is how an 'alternative reality' is constructed in Benjamin's mind when he changes the negative into the positive.

At the third stage of my investigation, I verify my results of observation and clarify the hypothesis. What I found is that counterfactuals emerge as the reflection of the experiencer upon her own flow of experience as she re-focuses on the same attentional objects as some time before but in the reverse order. This change of attentional direction is at the same time change of value (from negative to positive or vice versa) that helps to compensate for the subject's emotional disbalance caused by this linear and irreversible flow of experience and that becomes her 'counterbalancing reality', a 'better world', or rather, a new type of experience produced in/through an act of reflection. If we analyze the grammatical structure of a counterfactual, e.g. *If I only I had not done such a mistake, everything would have happened differently*, we will see more evidence supporting the hypothesis. Namely, the contrasting negation (*If I had ...* = in fact, I don't have) is how we make a relational change and reverse the experience of some past events, past tense forms specify what kind of the lived experience we are attentionally reversing and the 'future-in-the past' verb *would* frames the meaning of directionality, uninterrupted flow of experience, i.e. the future moving into the past or vice versa depending on the relation of the observer. This verb has a very important constructive function: it is not only a reflection upon the experiential flow, but also a construction of a new experience that usually appears as something 'unreal'.

These are the findings based on the empirical investigation of one motion picture only. Of course, more empirical material is needed to substantiate and refine the attentional model of counterfactuals I have proposed here.

Conclusion

If there is any observer-independent world, it need not and cannot be subject to a scientific investigation because science is a "collection of recipes that work always" [Valéry 1957, 1253] every time we interact with the world as observers. If a human had not experienced radioactivity once, there would be no nuclear physics now. Therefore, it is not the content of things 'out there' that science is concerned with, but how

different aspects of our experience relate to each other both empirically and logically.

Viewed from this perspective, films appear as a useful source of observational data and present a certain scientific value. Opponents on the side of apparatus theory recognize films as an ideological representation of reality, which finds favor with realists who dismiss cinema as an impoverished fiction. However, scientifically valuable is not *what* is told in the story, but how it is constructed in the experience of the observer (film makers, actors, viewers). These mechanisms of imagination, attentional dynamics, bodily behavior and perception, all the building blocks of our experiential world, are enacted, pieced together in the form of recorded moving pictures, projected onto the screen and finally made observable. This observability becomes a methodological opportunity and opens up new prospects for investigating human cognition.

The science which could certainly take this methodological opportunity is linguistics. Faced with the epistemo-logical contradictions of representationalism and textology, dominating language studies now, as well as the problem of primary sources, linguistics finds itself in need of a dynamic, process-oriented approach to language. Upon such a view, language is no longer understood as a self-sufficient system of signs, but the observer's communicative interaction with her experiential world. Such interactional dynamics can be empirically investigated with the help of cinematic observations that could serve as a viable and even better alternative for experimental ones [Scholte 2020] mainly because in experiments we cannot observe other people's attentional flow and lived experience.

The conception of language as experiential dynamics observable in films fits in with the philosophy of radical constructivism [Glaserfeld 1995] and follows the theoretical tenets of enactivism [Varela et al. 1993] according to which a human by analogy with an actor *enacts* the world as a (biological, social and cultural) history of her previous actions, these enactments becoming the world itself. However, the novelty of the approach to cinema and visual semiotics also lies in the methodological treatment of films from the perspective of second order science (science about science).

In practice, some scientific endeavors to use films empirically in language studies have been undertaken in Druzhinin [2020a, 2020b] where the grammatical concept of irreality in counterfactuals is viewed as experience. It was found that this experience is enacted through the reversed flow of attention being refocused on those perceptual distinctions whose value changes from negative to positive or vice versa.

REFERENCES

- Audi 2001 – Audi, R. (Ed.). (2001). *The Cambridge dictionary of philosophy*. 2nd edition. Cambridge UP.
- Bateson 1972 – Bateson, G. (1972). *Steps to an ecology of mind: Collected essays in anthropology, psychiatry, evolution, and epistemology*. University of Chicago Press.
- Bohr 1987 – Bohr, N. (1987). *The philosophical writings of Niels Bohr* (vol. 1). Woodridge.
- Bridgman 1958 – Bridgman, P. (1958). *The logic of modern physics*. Macmillan.
- Bunnell 2020 – Bunnell, P. (2020). Stories and alternative stories. *Constructivist Foundations*, 16 (1), 84–87.
- Chomsky 1975 – Chomsky, N. (1975). *Reflections on language*. Pantheon Books.
- Druzhinin 2020a – Druzhinin, A. S. (2020a). Construction of irreality: An enactive–constructivist stance on counterfactuals. *Constructivist Foundations*, 16 (1), 69–80.
- Druzhinin 2020b – Druzhinin, A. S. (2020b). Author’s response: Counterfactuals: Multiple realities or an observable world? *Constructivist Foundations*, 16 (1), 96–100.
- Einstein 1936 – Einstein, A. (1936). Physics and reality. *Journal of the Franklin Institute*, 221 (3), 349–382.
- Einstein 1955 – Einstein, A. (1955). *The meaning of relativity*. Princeton UP.
- Einstein & Infeld 1967 – Einstein, A., & Infeld, L. (1967). *The evolution of physics*. Simon & Schuster.
- Foesrter 2003 – Foerster, H. Von. (2003). *Understanding understanding: Essays on cybernetics and cognition*. Pergamon Press.
- Fultot 2020 – Fultot, M. (2020). Impoverished fiction. *Constructivist Foundations*, 16 (1), 83–84.
- Gardner 1985 – Gardner, H. E. (1985). *The mind’s new science: A history of the cognitive revolution*. Basic Books.
- Glaserfeld 1995 – Glaserfeld, E. Von. (1995). *Radical constructivism: A way of knowing and learning*. The calmer Press.
- Glaserfeld 2006 – Glaserfeld, E. Von. (1981). You have to be two to start: Rational thoughts about love. *Constructivist Foundations*, 2 (1), 1–5.
- Harris 1981 – Harris, R. (1981). *The language myth*. Duckworth.
- Harris & Wolf 1998 – Harris, R., & Wolf, G. (Eds.). (1998). *Integrational linguistics: A first reader*. Pergamon.

- Heisenberg 1958 – Heisenberg, W. (1958). *The Physicist's Conception of Nature*. Translated into English by A. J. Pomerans from *Das Naturbild der heutigen Physik*. Hutchinson.
- Kosso 2011 – Kosso, P. (2011). *A summary of scientific method*. Springer.
- Kuhn 1970 – Kuhn, T. (1970). *The structure of scientific revolutions*. 2nd edition. Cambridge UP.
- Linell 2005 – Linell, P. (2005). *The written language bias in linguistics: Its nature, origins and transformations*. Routledge.
- Maturana 1988 – Maturana, H. (1988). Ontology of observing: The biological foundations of selfconsciousness and the physical domain of existence. In R. E. Donaldson (Ed.), *Texts in cybernetic theory: An in-depth exploration of the thought of Humberto Maturana, William T. Powers, and Ernst von Glasersfeld*. <https://cepa.info/597>
- Maturana 2006 – Maturana, H. (2006). Self-consciousness: How? When? Where? *Constructivist Foundations*, 1 (3), 91–102.
- Mitterer 2013 – Mitterer, J. (2013). On interpretation. *Constructivist Foundations*, 8 (2), 143–147.
- Morin 2005 – Morin, E. (2005). *The cinema, or the imaginary man*. Translated by L. Mortime from *Le cinéma ou l'homme imaginaire*. University of Minnesota Press.
- Ogden & Richards 1923 – Ogden, C. K., & Richards, I. A. (1923). The meaning of meaning. A study of the influence of language upon thought and the science of symbolism. K. Paul, Trench, Trubner & Co.; Harcourt, Brace & Co.
- Poincaré 1902 – Poincaré, H. (1902). *La science et l'hypothèse*. Ernest Flammarion.
- Puljic & Puljic 2020 – Puljic, A., & Puljic, D. (2020). I know you don't know you know. *Constructivist Foundations*, 16 (1), 108–109.
- Scholte 2017 – Scholte, T. (2017). Audience and eigenform: Cybersemiotic epistemology and the “truth of the human spirit” in performance. *Constructivist Foundations*, 12 (3), 316–325.
- Scholte 2020 – Scholte, T. (2020). Contesting values in the theatre of the counterfactual. *Constructivist Foundations*, 16 (1), 87–89.
- Schopenhauer 1903 – Schopenhauer, A. (1903). *On the fourfold root of the principle of sufficient reason, and On the will in nature*. George Bell and Sons.
- Simsky et. al. 2021 – Simsky, A., Kravchenko, A. V., & Druzhinin, A. S. (2021). Action-thoughts and the genesis of time in linguistic semiosis. *Slovo.ru: Baltic Accent*, 12 (2), 7–28.
- Valéry 1957 – Valéry, P. (1957). *Œuvres*. Gallimard.

- Varela et. al. 1993 – Varela, F. J., Thompson, E., & Rosch, E. (1977). *The embodied mind: Cognitive science and human experience*. The MIT Press.
- Watzlawick 1977 – Watzlawick, P. (1977). *How real is real?* Vintage Books.
- Wittgenstein 1922 – Wittgenstein, L. (1922). *Tractatus logico-philosophicus*. Translated into English by C. K. Ogden. K. Paul, Trench, Trubner & Co.; Harcourt, Brace & Co.

Материал поступил в редакцию 18.02.2021

Материал поступил в редакцию после рецензирования 03.07.2021

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ: ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПРОБЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ ЗНАНИЯ И НОВЫЕ ВЫЗОВЫ

А. О. Костина

Институт философии РАН, Москва, Россия
alinainwndrln@gmail.com

При поддержке Министерства науки и высшего образования РФ (проект «Новейшие тенденции развития наук о человеке и обществе в контексте процесса цифровизации и новых социальных проблем и угроз: междисциплинарный подход», соглашение № 075-15-2020-798)

Цифровые платформы представляют собой феномен, принципиально меняющий способ хранения и упорядочивания информации – как содержания самих научных исследований, так и их метаданных. Платформы находятся в преемственных отношениях с классическими библиотеками, одновременно являясь революционными площадками использования алгоритмов и интерактивных методов визуализации и систематизации данных. Результатом качественной организации хранилища должен стать доступ к данным исследований и их метаданным, что, в свою очередь, должно обеспечивать адекватную картину состояния исследовательских областей и возможную прогностику их развития. Если данные касаются содержания самих исследований, то метаданные – того, кто, в рамках каких институций и исследовательских проектов их проводил. Отсутствие универсального порядка процедур по внесению данных в систему искажает картину как научной, так и «социальной жизни» исследований. Представления о платформах как автономных структурах, «черных ящиках», использующих столь же таинственные алгоритмы, серьезно ограничивают понимание проблем их внутреннего устройства и того, как это влияет на современную организацию научного знания. Порядок работы в рамках платформы напрямую зависит от участников научного процесса, которыми являются авторы исследовательских работ, научные институции, специалисты по работе с данными. Поднимается вопрос о специфике компетенций всех, участвующих в процессе: насколько исследователи должны быть технически подкованы в работе с платформами, а также насколько оправдано представление о специалистах по данным как об «универсальных» профессионалах, преемственных по отношению к индексаторам. Особое внимание в статье уделяется индексированию, которое анализируется в двух аспектах, отраженных в работе академических платформ: как инструмент оптимизации поиска по самому тексту (на примере отсылки к индексированию в Средневековье) и как инструмент навигации в исследовательских полях. При этом индекс рассматривается, с одной стороны,

в соответствии со своей изначальной функцией указания на определенное место в тексте. С другой стороны, он связан со способом пространственной текстуальной навигации, формирующей картины исследовательских областей фиксацией дисциплинарных и междисциплинарных связей в динамике их развития. Это, в свою очередь, приводит к необходимости обозначения проблем, связанных с методами реструктурирования и визуализации информации в рамках цифрового хранилища. Индексирование, картографирование и использование сложных систем не могут получить однозначной оценки, являясь способами как оптимизации подачи информации, так и ее политизации (как показано в «политике списка»). На основании ряда проанализированных проблем обозначены выводы о необходимости постоянной работы над соответствием всех уровней организации академических платформ: технические вопросы не могут рассматриваться узко, в отрыве от концептуальных проблем организации как данных исследований, так и их метаданных. Прогресс науки и коммуникация научных сообществ не в последнюю очередь зависят от стратегий использования методологического аппарата, определяющего качество репрезентации данных и метаданных исследований в рамках их хранилищ.

Ключевые слова: академические платформы, цифровые платформы, данные, метаданные, индексирование, картографирование науки, сетевая наука.

DATA VISUALIZATION AND CONCEPTUALIZATION ON ACADEMIC DIGITAL PLATFORMS: THE SUCCEEDED ISSUES OF KNOWLEDGE STORAGE AND THE NEW CHALLENGES

Alina O. Kostina

Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
alinainwndrln@gmail.com

Digital platforms present revolutionary phenomena that fundamentally change the way both scientific research and its metadata are stored and organized. Platforms inherit features of classical libraries, at the same time seen as revolutionary, implementing algorithms and interactive methods of systematization and analytics. Adequate access to research data and metadata is perceived as the result of a high-quality storage organization. The latter is aimed to provide an adequate picture of research fields' conditions and interactions, as well as the prospects of their development. While data is related to researches themselves, metadata demonstrate social aspects of scientific work: researches, institutions and projects they conduct. The lack of a universal workflow of entering data leads to multiple misrepresentations, among others, about the platforms

themselves. Understanding of platforms as autonomous structures, “black boxes” with “mysterious” algorithms, significantly limits intellectual access to issues required to be resolved in relation to them. The workflow of entering and processing data and metadata is dependent on the competences of the actors, mentioned above. Should a scientist, focused on actual research, be well equipped technically to avoid misrepresentation of scientific results on their part? Should a data scientist be universally educated so they can comply with the standards of historical indexers? Indexing itself is one of the main focuses of the article. It is analyzed in two respects: as an instrument of textual search (on the example of early medieval practices) and as an instrument of navigation in multiple fields of research on a platform. The index is construed here in accordance with its initial function of a pointer, on the one hand, and as a “map-reading”, which not only reads, but also creates the maps of communications in disciplinary and interdisciplinary fields, on the other. This observation highlights the necessity to overcome a number of difficulties. The first one is correspondence between the conceptual and technical levels of the platform organization. Another issue is the way classical methods optimize and visualize data within the realm of digital storage. Indexing, science mapping and complex systems engaged cannot be unambiguously evaluated. They all are methods used to simultaneously optimize and politicize data (as it is demonstrated in the “politics of the list”). The given analysis shows the need for constant work on the correspondence of the conceptual, visual and technical levels of academic platforms: technical issues could not be perceived independently from the conceptual ones, whether they are related to the data or metadata of research. The progress of knowledge and communication of scientific communities demonstrate themselves as dependent on the strategies related to the methodological apparatus that determines the quality of research data and metadata representation.

Keywords: academic platforms, digital platforms, data, metadata, indexing, science mapping, network science.

DOI 10.23951/2312-7899-2022-2-30-45

Введение

«Наука не могла быть основана на одном человеке; с определенного момента только сообщества исследователей могли способствовать ее прогрессу», – такой вывод делает О. ле Дефф, анализируя практики научного взаимодействия и его медиации [Le Deuff 2018, 5]. Яркими примерами являются «Республика писем» – история взаимодействия интеллектуалов Европы, деятельность К. Геснера и М. Мерсенна как медиаторов и инициаторов коммуникации ученых.

Обмен соображениями об исследованиях, находках и трудностях, встающих на пути разрешения теоретических и экспериментальных проблем, лежит в основе взаимодействия этики научного общения и части научного этоса, связанного с коммуникацией внутри научных сообществ. Однако такого рода общение представляет собой только одну из форм «социальной жизни» науки. Другой ее частью, классифицированной и организованной, является хранение работ, самих исследований.

Два процесса: с одной стороны, аккумуляция знания, с другой – его каталогизация и упорядочивание, – неразрывно связаны между собой на протяжении всей истории науки. Развитие научной коммуникации во многом сопряжено с улучшением технических средств связи, возможностью развития международных контактов как между отдельными группами ученых [Birnholtz et al. 2012], так и в рамках деятельности национальных и международных исследовательских институтов.

В какой же степени можно говорить о преемственности или революционности цифровых платформ по отношению к предшествующим, более традиционным формам хранения источников знания?

Упорядочивание знания – это одновременно и техническое, и концептуальное действие. Работа, осуществляемая в библиотеках, где раньше манипуляции производились исключительно с физическими носителями исследований, стала необходимым и принципиально важным звеном для последующего развития цифровых платформ. Об этом свидетельствует использование в цифровых проектах принципов индексирования, гипертекста [Carusi 2006], реферирования, использования навигационных методов наряду с адаптацией развитой системы визуализации.

Работа с многочисленными источниками и невозможность исчерпывающе их использовать указывают на ограниченность человеческих ресурсов, идет ли речь о времени или пространстве. Систематизация может, в свою очередь, продемонстрировать пределы концептуализации. Всегда остается риск того, что техническое и концептуальное могут не только расширить, но и взаимно ограничить прогресс как научного знания, так и связанной с ним коммуникации научных сообществ. В этом смысле попытки классификации цифровых данных и метаданных, оптимизации научного процесса, создание карты научных связей являются логичным и даже необходимым продолжением предшествующих практик в этой области.

Тем или иным образом задокументированная исследовательская деятельность и ее результаты – надежный начальный пункт коммуникации ученых. Изобретение печатного станка произвело такой же эффект на распространение информации, как и изобретение глобальной сети. Революционные технологические прорывы не только дают новые возможности для взаимодействия участников научного процесса, но и испытывают на прочность способность контролировать запущенные изменения. Так, в Европе происходил бум не только официального книгопечатания: подпольно перепечатывались копии научных журналов. Таким образом, и законно, и нелегально циркуляция нового знания ускорялась.

Более масштабным вопросом является организация хранилищ информации: цифровых или физических. И в первом, и во втором случае ключевыми становятся, с одной стороны, наращивание объема хранимых исследований, с другой – проблематичность организации качественной работы с ними. Результатом этой работы выступает устойчивость развития знания, его прогресса. Однако можно ли всерьез говорить о новых этапах в развитии, если предшествующий исследовательский опыт недоступен по причине плохо систематизированного хранения?

Индексирование и «политика списков»

Понимание необходимости метода эффективного поиска информации уже в Средневековье приводит к индексированию источников. Процесс представлял собой коллективный труд, где каждому участнику доверялась работа с отдельной буквой. Индексирование при этом некоторые называли «инструментом глупости» [Le Deuff 2018, 24], способом пренебрежения целостностью текста. Работа как с массивом текстов, так и с отдельно взятым образцом становится неизбежной уступкой ограниченности исследовательских ресурсов. Одним их самых звучных обвинений в адрес академических цифровых платформ и используемых ими алгоритмов является установившееся пренебрежение герменевтической традицией интерпретации, а также ее замена на науку предписывающих процедур. Исследователи лишаются «близкого чтения». На смену ему приходят схематизмы и новая концептуальная «графика», редуцирующие смыслы в канве повествования. Близкое чтение «заставляет обращать внимание на то, как производятся и передаются смыслы, на буквальные и риторические стратегии и техники, которые раз-

ворачиваются для воздействия на читателя работы в целом или ее отдельного фрагмента» [Culler 2010, 22] (цит. по: [Kitchen 2014, 8]).

Этой позиции противопоставляется иная, указывающая на то, что именно новые способы организации знания, связанные с цифровыми платформами и свойственными им алгоритмами, приводят к новому парадигмальному сдвигу и новым познавательным стратегиям. «Аналитика “big data” дает начало принципиально новому эпистемологическому подходу к осмыслению мира; вместо тестирования теории с помощью анализа соответствующих данных новая аналитика данных направлена на получение инсайтов, “рожденных самими данными”» [Kitchin 2014, 2].

Однако на примере внедрения индексирования становится заметно, что в целом работа по оптимизации на протяжении всей истории вызывает подозрение. Немаловажно, что критика исходит от самого научного сообщества, так как введение новых систем имеет как операциональный, так порой и идеологический характер.

Индексирование становится важным способом перевода аналоговой информации в цифровую. Это демонстрация «политики списков» [Goede, 2016], где список становится одновременно как новым эпистемическим, так и практическим инструментом, структурирующим область знания и его «социальную жизнь» [Goede et al. 2016; Sullivan 2020; Revill 2020]. Являясь мощным текстуальным механизмом, индексирование становится инструментом политики, которая «не может быть трактована в классических понятиях репрезентации, напротив, становится политикой, уходящей от открытой демонстрации в пользу производства новых способов контроля» [Staheli 2016, 16]. Индексирование, таким образом, выходит за границы технического метода, воплощая собой сложный приписывающий механизм, который работает на получение определенного эпистемического и политического результата. При этом правила, лежащие в основе индексирования, спрятаны от публичных дискуссий.

Ключевой проблемой как для традиционного, так и для цифрового подхода к индексированию текстов становится нетривиальная роль индексатора. В соответствии с описанием, предложенным Урсом Штэйели в его работе «Политика неразличимости», индексирование – это социальная практика, требующая конструирования воображаемого сообщества, одновременно его производящего. Одна из главных способностей индексирующего – вырабатывать безразличие к уже существующей текстовой организации, обладая при этом ее полным пониманием. Он «разъединяет единицы смысла

для создания нового порядка» [Staheli 2016, 20]. Из этого описания вырастает неоднозначное описание индексирующего: в идеале им становится человек, данного текста не писавший. При этом он должен обладать незаурядным набором интеллектуальных качеств, находящихся в балансе: он и включен, и объективен, беспристрастен, способен инкапсулировать и связать в стройный список ключевые единицы нарратива. Однако невозможно упустить из виду тот факт, что в современном мире исследований каждый автор, пишущий статью, сам определяет ее ключевые слова, таким образом, сам ее индексирует.

В области функционирования платформ «индексирующим» становится обладатель особой профессии. Специалисты по данным (data scientists) позиционируются как универсалы, способные работать с данными любой области – от науки до корпоративного бизнеса. «Специалист по данным – идеальный субъект, сконструированный из мириад книг, академических статей, конференций и популярных новостных отчетов, – гетерогенный набор множества нитей: веков знаний в статистическом анализе... продвинутых алгоритмов в области информатики, новых форм хранения информации... новых языков программирования и обладатель способностей к предпринимательству» [Gehl 2015, 420].

Однако эта условная «универсальность» не всегда воспринимается как очевидное преимущество, особенно в контексте вопросов познания и эпистемологии. «Хотя данные могут быть интерпретированы вне контекста или специфической экспертизы, такая эпистемологическая оценка с вероятностью будет слабой и бесполезной, не будучи включенной в более широкий круг дебатов и областей знания» [Kitchin 2014, 5]. Оценка «человека Ренессанса» XXI века носит довольно скромный характер. Это специалист, скорее, скользящий по поверхности многих технически значимых областей, необходимых для организации хранилищ и доступа к ним.

Так, в рамках борьбы с ересями времен Средневековья отдельная работа, не соответствовавшая доминирующей догме, считалась неконформистской, или еретической. Индексирование текста превращалось в индексирование его автора. В негативных исторических коннотациях это могло быть попыткой «стереть» его «ошибку веры» [Le Deuff 2018]. В зависимости от поставленной цели оно становится инструментом, либо «подсвечивающим», либо «затеняющим» определенные данные. Схожие действия обнаруживают себя в работе алгоритмов, в частности поисковых систем или социальных медиа. Это приводит к многочисленным диспутам по вопросу

границ и охраны личных данных, а также проблеме манипулирования ими [Hu 2020; Micheli et al. 2020; Brevini, Pasquale 2020]. Работа, осуществляемая в отношении данных, зачастую непрозрачна. Вовсе не обязательно это связано с попыткой ими манипулировать. Раскрывать их может быть нецелесообразно из прагматичных соображений, представлений о безопасности, профессиональной специфики, не рассчитанной на рядового пользователя. Однако вокруг этих аргументов на протяжении долгого времени разворачивается спор о «величии алгоритма» [Ames 2018], базирующегося исключительно на закреплённой за платформами аналогии «чёрного ящика» [Passi, Sengers 2020].

Гипертекст, ассоциируемый с развитием компьютерных и цифровых технологий, является в действительности мощным архитектуром. Этот метод нелинейного чтения также формирует особую «ментальную карту» знания и его узловых моментов. Индексирование и гипертекст становятся «силовыми линиями», либо предлагающими множество альтернативных путей мысли и целых исследований, либо замыкающимися в петли, возвращая в исходный пункт [Calise, Lowi 2000; Modir et al. 2014].

Данные наблюдения являются основанием предположения о том, что определение технических параметров, идет ли речь о физическом источнике информации или цифровом, определяет также и направление концептуального развития. Это влечет за собой необходимость обратить внимание на проблему стандартизации, этики и политики применения обозначенных инструментов.

Big metadata – «большие данные» и социальная жизнь исследований

Цифровые системы наукометрии несовершенны и не работают полностью автоматически. Сам по себе объем данных в первую очередь заставляет задуматься о том, как сохранять контроль над ними: «...структурированные данные обгоняемы частично структурированными и не структурированными вовсе» [Gehl 2015, 419]. В них есть место как для ошибки, так и для сознательного выбора параметров, которые могут приводить к формированию определенных (с акцентом на отдельных параметрах) картин исследований в различных полях.

Помимо данных научных работ, необходимым элементом являются и их метаданные. Поэтому дискуссии о big data дополняются

проблематизацией big metadata. Метаданные – это данные об исследованиях, на основании которых можно анализировать и прогнозировать их «социальную жизнь». «Мы можем проанализировать, как совместные проекты и исследовательские сети расцветают и увядают, как масштаб и структура этих сетей влияют на продуктивность... Объектом нашего внимания могут стать общие процессы от производства данных и последующей публикации академических статей до подачи заявок на получение патента или финансирования» [Bratt et al. 2017, 37].

Необходимому для структурирования и хранения научных достижений разделению, обозначенному выше, сопутствует также идея строгой формализации рабочих процессов. Дополнительной сложностью становится необходимость не только технической, но и концептуальной формализации. Именно в этот момент возникает вопрос о правильно поставленных задачах и продуманных методологиях. Р. Китчин замечает, что простое установление всех существующих в системе связей не представляется ценным методом на пути прогресса научного знания, при этом «...одна задача – обнаружить модель, другая – ее объяснить. Это требует социальной теории и глубокого контекстуального знания» [Kitchin 2014, 8]. Такое заявление не может претендовать на принципиально новую форму постановки проблемы. Наоборот, использование цифровых академических платформ еще раз демонстрирует сложность взаимного перевода технических, концептуальных и визуальных параметров.

В связи с этим в фокусе внимания оказывается два вопроса. Во-первых, насколько роль специалиста по данным как нового «человека Ренессанса» реалистично представлена [Avnoon 2021]? Во-вторых, насколько серьезно можно говорить об оценке коммуникации внутри научных областей, отраженной в метаданных, если одной из ключевых проблем становится отсутствие адекватной коммуникации технического и концептуального уровней организации платформ? «Аналитика больших метаданных, проведенная по принципу ad hoc, с большей вероятностью пострадает от ошибок, совершенных как на концептуальном, так и на вычислительном уровне... исследование может стать дорогостоящим и, что хуже, привести к методологически фундаментальным проблемам, подрывающим его надежность и ценность» [Bratt et al. 2017, 44].

В связи с этим хотелось бы привести два примера любопытных исследований. В рамках первого, осуществленного Д. Моатсом и Н. Сивером, рассматривается проблема отношений между специалистами по данным и их критиками. Проблемы взаимодействия

при этом помещены в контекст эпистемологии, нормативности и политики.

Критиками в данном споре выступают представители направлений, специализирующихся на применении качественных подходов (в социологии, антропологии и социальной теории). При этом основные критические тезисы касаются платформ как «черных ящиков», непрозрачности алгоритмов [Ames 2018; Bucher 2016; Fields et al. 2020] и необходимости разработки более строгих этических оснований данной области [Dewandre 2020; Smith 2020]. В свою очередь, специалисты по данным часто рассматривают методологические проблемы внутри собственной дисциплины, не затрагивая вопросы «хитросплетений политики и знания, поднимаемые в критической литературе» [Moats, Seaver 2019, 3]. Попытка наладить диалог, для начала хотя бы в рамках эксперимента, наталкивается на множественные препятствия, которые сами по себе становятся материалом для анализа проблем коммуникации [Ribes 2018; Passi, Sengers 2020]. Подход был очень прост: специалисты по данным должны были прокомментировать тексты, критически разбирающие их профессиональную область. Одни из согласившихся на участие в эксперименте сразу переформулировали задачу, редуцировав ее до необходимости ликвидации «разрывов в терминологии и эпистемологии» двух сторон [Moats, Seaver 2019, 5]. Другие участники отказывались от эксперимента под предлогом того, что данный подход «чрезвычайное мета», – еще раз указывая, что вопрос метауровня и связанных с ним дискуссий проблематичен и не находит разрешения внутри самой дисциплины.

Данные и метаданные исследований и используемые для их организации алгоритмы могут многое рассказать о «социальной жизни» различных областей исследований. При этом связи зачастую представляются графически – в том числе в виде сетей и карт, визуально отражающих процессы взаимодействия. Графическими данными также можно манипулировать интерактивно, показывая происходящие изменения в динамике. Сети становятся не только способом визуализации данных, но и познавательным инструментом, каким является и описанный выше индекс. Главный потенциал сетей кроется в демонстрации взаимодействующих элементов, если определить это крайне схематично. Они инкапсулированы и изолированы от континуальности текстов. С одной стороны, сети отражают множество взаимодействий, осуществляемых в рамках исследовательских областей. С другой – создают новый контекст и новую топологию. Таким образом сети можно ассоциировать с инструментом визуализации и навигации одновременно.

Методы сетевой науки и картографирование

Сложности аналитики сети возникают с момента постановки первого же вопроса: организованы ли данные согласно предписывающим алгоритмам платформы или отражают логику взаимодействий исследовательских полей? В первом случае данные отражают концептуальные представления, заложенные алгоритмами, и тогда и работа по их анализу должна проводиться на концептуальном уровне. Во втором случае исследование должно проводиться феноменологически и отталкиваться от самих данных и демонстрируемых связей.

В работе «Эпистемические столкновения в сетевой науке: картографирование противоречий идеографической и номотетической субкультур» в центре внимания оказываются две полемики, касающиеся методологии анализа структур и процессов, характерных для сложных сетей. По определению автора, сложная сеть – «это общий / разделяемый объект, которому в разных контекстах приписываются разные значения, позволяя при этом знанию циркулировать через эпистемические разрывы и способствуя сохранению целостности поля» [Jасomy 2020, 2]. Рассмотрение данных полемик автор осуществил на основании систематизации и анализа корпуса статей, выпущенных в академических и свободных изданиях. Основываясь на анализе хода «двух волн» полемики, он не только представил концептуальные выводы, но и использовал графические способы их демонстрации: несколько типов «карт» цитирований отдельных статей или авторов в рамках корпуса с учетом хронологии дискуссий. На основании анализа автор отслеживает следующую преемственность причин, отражающих логику споров: «1. Дисциплинарный разрыв. 2. Проблема использования исследователями своих связей. 3. Проблема концептуальной неопределенности» [Jасomy 2020, 4]. Все три пункта удачно описывают проблемы не только уровня исследования, но и его метауровня. Таким же образом может быть описан и концептуальный спор вокруг организации метаданных академических цифровых платформ. Использование сложных сетей было последовательно перенесено из естественных наук в качестве инструмента познания в социальную теорию, а аналитического и графического инструмента – в работу академических платформ. Однако, по замечанию автора, «теоретики STS высказывают предположение, что дезунификация сети произошла тогда, когда она была перенесена из точных наук, где сеть изначально была объединена. Но этого состояния единства никогда не суще-

ствовало: сеть всегда была объектом многочисленных споров» [Jacomy 2020, 1]. Адаптацию сложных сетей в качестве инструмента анализа дисциплинарных полей нельзя назвать беспроблемной. Тем не менее их используют как графический и навигационный инструмент цифровых платформ. Этот факт указывает на сложность оценки картин, в которых используемые инструменты технологичны, а значит, рассматриваются как нейтральные.

Развитие научных цифровых платформ преемственно по отношению к проекту кибергеографии. Одной из значимых задач проекта, запущенного на заре развития сети Интернет, было картографирование цифрового пространства. При этом как сам процесс, так и создание атласа карт имеет черты, отличные от неvirtуальной географии. Например, «цифровое пространство является научной территорией по своему собственному праву; оно предоставляет новые инструменты для собственного понимания» [Le Deuff 2018, 115]. Хотя тезис об автономии «по своему праву» является спорным, тем не менее можно говорить о цифровом пространстве не только как о месте применения традиционных инструментов познания, но и как об области создания новых. Цифровые платформы используют инструменты индексирования и картографирования, также воплощая проект «универсальной библиотеки», тесно связанный с именем П. Отле. Картографирование скорее становится инструментом познания, нежели попыткой объективной графической фиксации пространственных отношений. Интерактивное картографирование предлагает новые способы визуализации научного пространства и установление параметров, необходимых для освещения отдельных исследовательских областей или проблем, как в перспективе, так и в ретроспективе процессов. Карта – это и способ наглядного установления взаимодействий научных сообществ, результаты наблюдения за которым могут стать основанием для аналитики и прогностики перспективных областей науки, зарождающихся или утасающих проблемных полей. Картографирование становится инструментальным и навигационным феноменом, который наряду с индексированием создает новое коммуникативное и методологическое пространство.

Заключение

Ускорение доступа к информации наряду с изменениями в способах ее систематизации трансформировали характер работы

исследователей. Усложнение структуры систем, в которых существуют данные и метаданные, превращает специалистов различных научных областей не только в носителей профессиональных навыков. Знание специфики платформ, с которыми осуществляется работа, понимание особенностей проблематики и, что немаловажно, классификаций того поля, в котором проводится исследование, – ключевые факторы достижения научных результатов.

Проблема коммуникации внутри исследовательских полей во многом определяется способом решения технических вопросов, связанных с организацией знания, хранения и качества используемых цифровых инструментов. Последнее зависит от синхронизации концептуального и технического уровней организации при реализации поставленных задач. Так, привычное представление об индексировании, картографировании и (не столь традиционном) использовании методов сетевой науки претерпевает изменения в контексте цифровых академических платформ. Степень владения многочисленными инструментами определяет уровень коммуникативности цифровой научной среды. При этом наглядность многочисленных установленных связей, достигаемая применением интерактивных графических методов, не отменяет необходимости их концептуального осмысления. Желание бескомпромиссной технологизации процесса, в котором «инсайты будут демонстрировать сами себя, без того, чтобы ученые, специалисты той или иной области задавали правильные вопросы, разрабатывали гипотезы в рамках теорий» [Kitchin 2014, 5], не поддерживается практикой функционирования платформ.

Методы, изначально направленные на разрешение исключительно технических задач, обнаруживают себя в более широком функциональном спектре. Именно поэтому в рамках данной статьи было проанализировано индексирование, в первую очередь как практика «составления списка», «помогающая прочтению эпистемических и политических стратегий, вписанных в индекс... она прослеживает политические рациональности внутри агрегирующих и упорядочивающих стратегий индексирования» [Staheli 2016, 22]. Картографирование цифрового научного пространства, определяют ли его в категориях визуализации или навигации, становится инструментом, препятствующим реификации коммуникативных и исследовательских процессов и постоянно переопределяющим подлежащую структуру. Значимой при этом становится сетевая наука, частью которой является интерактивное моделирование исследуемых сложных систем. Теоретические споры вокруг последних ставят

вопрос о пределах взаимной трансляции уровней исследования, адаптации инструментов точных и гуманитарных наук, «порочного круга» (не)переводимости языков разных областей и уровней исследования в рамках работы академических платформ.

Цифровая академическая платформа является инструментом оценки и развития как научного знания, так и научной коммуникации. «Карты науки» – элемент анализа взаимодействий ученых и расширения научного знания. «Наука о науке», проекты которой разрабатывались на протяжении истории, и сегодня остается в фокусе внимания исследователей, теперь уже в рамках цифровых платформ. Упорядочивание знания, его классификация получают новые возможности, но также требуют серьезного подхода к его концептуализации. Далеко не все вопросы развития знания решаются техническими методами, но пренебрежение способами хранения, обработки и классификации данных и метаданных может негативно сказаться как на прогрессе научного знания, так и на коммуникации научных сообществ.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Ames 2018 – *Ames M. G.* Deconstructing the Algorithmic Sublime // *Big Data & Society*. 2018. URL: <https://doi.org/10.1177/2053951718779194/> (accessed: 12.02.2021).
- Avnoon 2021 – *Avnoon N.* Data Scientists' Identity Work: Omnivorous Symbolic Boundaries in Skills Acquisition // *Work, Employment and Society*. 2021. URL: <https://doi.org/10.1177/0950017020977306/> (accessed: 12.02.2021).
- Birnholtz et al. 2012 – *Birnholtz J., Guha S., Yuan Y. C., Gay G., Heller C.* Cross-campus collaboration: a scientometric and network case study of publication activity across two campuses of a single institution // *ASIS & T*. 2021. URL: <https://doi.org/10.1002/asi.22807/> (accessed: 12.02.2021).
- Bratt et al. 2017 – *Bratt S., Hemsley J., Qin J., Costa M.* Big Data, Big Metadata and Quantitative Study of Science: a workflow model for big scientometrics // *Proceedings of the association for information science and technology*. 2017. Vol. 54, is. 1. P. 36–45.
- Brevini, Pasquale 2020 – *Brevini B., Pasquale F.* Revisiting the Black Box Society by rethinking the political economy of big data // *Big Data & Society*. 2020. URL: <https://doi.org/10.1177/2053951720935146/> (accessed: 12.02.2021).

- Bucher 2016 – *Bucher T.* Neither black nor box: ways of knowing algorithms // *Innovative Methods in Media and Communication Research* / S. Kubitschko, A. Kaun (eds). Cham : Palgrave Macmillan, 2016. P. 81–98.
- Carusi 2006 – *Carusi A.* Textual Practitioners: a comparison of hypertext theory and phenomenology of reading // *Arts & Humanities in Higher Education*. 2006. Vol. 5 (2). P. 163–180.
- Calise, Lowi 2000 – *Calise M., Lowi T. J.* Hyperpolitics: Hypertext, Concepts and Theory-Making // *International Political Science Review*. 2000. Vol. 21 (3). P. 283–310.
- Culler 2010 – *Culler J.* The closeness of close reading // *ADE Bulletin*. 2010. Vol. 149. P. 20–25.
- Dewandre 2020 – *Dewandre N.* Big Data: From modern fears to enlightened and vigilant embrace of new beginnings // *Big Data & Society*. 2020. URL: <https://doi.org/10.1177/2053951720936708/> (accessed: 12.02.2021).
- Fields et al. 2020 – *Fields D., Bissell D., Macrorie R.* Platform methods: studying platform urbanism outside the black box // *Urban Geography*. 2020. URL: <https://doi.org/10.1080/02723638.2020.1730642/> (accessed: 12.02.2021).
- Gehl 2015 – *Gehl R. W.* Sharing, knowledge management and big data: a partial genealogy of the data scientist // *European Journal of Cultural Studies*. 2015. Vol. 18 (4–5). P. 413–428.
- Goede et al. 2016 – *Goede De M., Leander A., Sullivan G.* Introduction: the politics of the list // *Environment and Planning D: Society and Space*. 2016. Vol. 34 (1). P. 3–13.
- Hu 2020 – *Hu M.* Cambridge Analytica’s black box // *Big Data & Society*. 2020. URL: <https://doi.org/10.1177/2053951720938091/> (accessed: 12.02.2021).
- Jacomy 2020 – *Jacomy M.* Epistemic clashes in network science: Mapping the tensions between idiographic and nomothetic subcultures // *Big Data & Society*. 2020. URL: <https://doi.org/10.1177/2053951720949577/> (accessed: 12.02.2021).
- Kitchin 2014 – *Kitchin R.* Big Data, new epistemologies and paradigm shifts // *Big Data & Society*. 2014. URL: <https://doi.org/10.1177/2053951714528481/> (accessed: 12.02.2021).
- Le Deuff 2018 – *Le Deuff O.* Digital humanities: history and development. London : Iste and Wiley, 2018. 149 p.
- Micheli et al. 2020 – *Micheli M., Ponti M., Craglia M., Suman A. B.* Emerging models of data governance in the age of datafication //

- Big Data & Society. 2020. URL: <https://doi.org/10.1177/2053951720948087/> (accessed: 12.02.2021).
- Moats, Seaver 2019 – Moats D., Seaver N. “You Social Scientists Love Mind Games”: Experimenting in the “divide” between data science and critical algorithm studies // Big Data & Society. 2019. URL: <https://doi.org/10.1177/2053951719833404/> (accessed: 12.02.2021).
- Modir et al. 2014 – Modir L., Guan L. C., Aziz S. B. S. Text, Hypertext, and Hyperfiction: a Convergence Between Poststructuralism and Narrative Theories // SAGE Open. 2014. URL: <https://doi.org/10.1177/2158244014528915/> (accessed: 12.02.2021).
- Passi, Sengers 2020 – Passi S., Sengers P. Making data science systems work // Big Data & Society. URL: <https://doi.org/10.1177/2053951720939605/> (accessed: 12.02.2021).
- Revill 2020 – Revill G. Voicing the environment: Latour, Peirce and an expanded politics // EPD: Society and Space. 2020. URL: <https://doi.org/10.1177/0263775820944521/> (accessed: 12.02.2021).
- Ribes 2018 – Ribes D. STS, Meet Data Science, Once Again // Science, Technology, & Human Values. 2018. URL: <https://doi.org/10.1177/0162243918798899/> (accessed: 12.02.2021).
- Smith 2020 – Smith G. The politics of algorithmic governance in the black box city // Big Data & Society. 2020. URL: <https://doi.org/10.1177/2053951720933989/> (accessed: 12.02.2021).
- Staheli 2016 – Staheli U. Indexing – The politics of invisibility // Environment and Planning D: Society and Space. 2016. Vol. 34 (1). P. 14–29.
- Sullivan 2020 – Sullivan G. The law of the list. Cambridge : Cambridge University Press, 2020. 399 p.

Материал поступил в редакцию 17.05.2021

Материал поступил в редакцию после рецензирования 18.08.2021

ИНТЕРНЕТ-МЕМЫ КАК ИНДИКАТОР ОБЩЕСТВЕННОЙ РЕАКЦИИ И ИНСТРУМЕНТ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

А. А. Кутузова

Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ, Москва, Россия
kutuzova-aa@tanepa.ru

Е. М. Шульман

Московская высшая школа экономических и социальных наук, Россия
Королевский институт международных отношений Чатем-Хаус,
Лондон, Великобритания
daria.lieven@gmail.com

Пандемия COVID-19 как главный инфоповод современности нашла отражение не только в большом количестве научных исследований, но и в народном творчестве, развернувшимся на просторах виртуального пространства. Одним из способов осмысления интернет-аудиторией эпидемиологической ситуации в мире стали интернет-мемы, изучение которых позволяет лучше понять потребности и проблемы постоянно расширяющейся интернет-аудитории. Целью статьи является исследование интернет-мемов как индикатора общественной реакции и инструмента обратной связи в период пандемии COVID-19 на примере контента российского медиапространства с 2020 по 2021 год. В процессе движения к поставленной цели был реализован ряд задач: обозначены сущность интернет-мема, его функции и особенности как инструмента общественной реакции; на основании полученной теоретической информации создан алгоритм дешифровки знаковой структуры интернет-мема; с помощью составленного алгоритма проанализированы интернет-мемы о пандемии, популярные в российском интернете. Инструменты и механизмы обратной связи рассматриваются в работе в контексте теории политических коммуникаций, основанной как на классических положениях Ласуэлла, так и на их последующей критике. Методологической основой работы является семиотический анализ, примененный с учетом лингвокультурологических особенностей предмета исследования. В результате теоретического и практического изучения обозначенной темы мы пришли к следующим выводам. Интернет-мем как медиаобъект примечателен тем, что занимает определенный статус в интернет-пространстве: обладая знаковой природой (вербальная и визуальная составляющие), он содержит актуальный и ярко выраженный юмористический посыл, созданный на основании уже существующих культурных шаблонов. Это позволяет мему выполнять не только развлекательную и коммуникативную, но и социальную функцию. Будучи

инструментом сублимации и компенсации негативного социального и экзистенциального напряжения, он может служить не только каналом коммуникации между индивидами, но и инструментом обратной связи в процессе политической билатеральной коммуникации между государством и обществом. Подтверждением этого тезиса являются интернет-мемы о пандемии COVID-19, создаваемые российскими интернет-пользователями с начала распространения коронавирусной инфекции и ставшие чрезвычайно популярными в социальных сетях и мессенджерах. Высмеивались и сама пандемия, и государственные меры по предотвращению ее распространения. Этот предмет комической интерпретации мема трансформируется параллельно тому, как меняются вводимые государством меры. Процесс создания авторами подобного контента следует одной и той же схеме: уже известный в виртуальном пространстве шаблон редактируется с учетом существующей социально-политической повестки, в результате чего измененные детали или утоняющие надписи наполняют его новым юмористическим содержанием. Поскольку чаще всего интернет-мемы о пандемии носят ярко выраженный саркастический характер, их семиотическая дешифровка может быть полезной для анализа текущей общественно-политической ситуации: она помогает определить реакцию граждан на правительственные меры, а значит, позволяет использовать это знание в будущем для принятия более взвешенных политических решений и выстраивания более успешных коммуникативных стратегий для их внедрения.

Ключевые слова: политическая коммуникация, обратная связь, каналы обратной связи, интернет-мем, пандемия COVID-19, коронавирус, государственные меры, интернет-коммуникация, российское медиапространство, контент-анализ.

INTERNET MEMES AS A PUBLIC REACTION INDICATOR AND A FEEDBACK TOOL DURING THE PANDEMIC

Anastasia A. Kutuzova

Russian Presidential Academy of National Economy
and Public Administration, Moscow, Russia
kutuzova-aa@ranepa.ru

Ekaterina M. Schulmann

Moscow Higher School of Economic and Social Sciences, Moscow, Russia
Royal Institute of International Affairs, London, United Kingdom
daria.lieven@gmail.com

The COVID-19 pandemic is the main informational topic of our time. It is reflected both by the members of modern academia and by the broader audiences.

The latter actively express their opinions in the virtual space, and one of their ways to comprehend the epidemiological situation in the world is the Internet meme. The scientific study of this phenomenon reveals the needs and the problems of the Internet audience, which is constantly expanding. The article aims to research Internet memes as public reaction indicators and feedback tools during the COVID-19 pandemic. The empirical material of the article is the content of the Russian media space from 2020 to 2021. To reach the aim, at the beginning of the article, the authors define the essence of the Internet meme, its functions, and its specifics as a tool of social reaction; based on the obtained theoretical information, they create an algorithm for decoding the symbolic structure of the Internet meme. In the main part of the article, using the created algorithm, the authors analyze popular Russian Internet memes about the pandemic. They consider feedback tools and mechanisms in the context of political communication theory, based both on Laswell's classical positions and on their subsequent critique. The main method of the work is semiotic analysis applied given the linguistic and cultural features of the object. As a result, the authors arrive at the following conclusions. The Internet meme is a media object with a certain status which determines its popularity in the online space: it has a sign nature (verbal and visual components), contains an actual and humorous message created based on already existing cultural patterns. Therefore, memes fulfill not only entertainment and communication functions, but also a social one. The meme is a tool of sublimation and compensation for a person's negative social and existential tension. As a consequence, the Internet meme can serve as a channel of feedback between individuals and also in the process of political bilateral communication between state and society. The authors confirm this thesis by analyzing Internet memes about the COVID-19 pandemic that have been created by Russian internet users since the beginning of the coronavirus infection. They have become popular in social networks and messengers in Russia. Most of these Internet memes focus both on the existence of the pandemic and on the state measures to prevent COVID-19's spread. The very subject of ridicule on the part of the Internet meme changes parallel to the way the state introduces, changes, or abolishes certain protective measures. The creation of such content follows the same scheme: the meme author has a pattern already known in the virtual space, and s/he edits it focusing on events in society. As a result, the changed details of an image or an added inscription fill it with new humorous content. A lot of the Internet memes about the pandemic are sarcastic. Therefore, their semiotic decoding can be useful for public authorities: it reveals the cause of people's discontent, the reaction of the population to governmental measures, and thus allows the use of this knowledge for better policy decisions and more efficient communication strategies for their implementation.

Keywords: political communication, feedback, feedback channels, Internet memes, COVID-19 pandemic, coronavirus, government measures, Internet communication, Russian media space, content analysis.

В жизненном пространстве современного человека интернет-коммуникация уже давно обрела статус обыденности. Тем не менее именно она сегодня служит наиболее благоприятной средой формирования новых уникальных языковых явлений [Ягодкина 2019, 150–151]. Одним из них является интернет-мем. Будучи одновременно и зеркалом потребностей интернет-аудитории, и индикатором ее настроений, этот виртуальный феномен все чаще вызывает интерес у представителей научного сообщества [Голованова, Маджаева 2020, 48–49]. В силу того, что большая часть мира сегодня озабочена распространением COVID-19, в данной статье мы намерены проанализировать мемы о пандемии и государственных мерах по ее предотвращению в российском медиапространстве в период с 2021 по 2021 год. Предварительной же ступенью к обсуждению этой темы является теоретическое изучение сущности мема и его места в коммуникативном пространстве в целом и среди инструментов политической коммуникации в частности.

Особенности интернет-мемов как инструмента общественной реакции

Классическая формула акта коммуникации Гарольда Ласуэлла «кто – говорит что – по какому каналу – кому – с каким эффектом?», легшая в основу современной коммуникативной теории, с равной точностью описывала журналистику, пропаганду, государственное информирование и даже бытовые слухи [Lasswell 1948]. Она подвергалась критике за отсутствие элемента обратной связи – того самого, который является центральным в коммуникациях политической системы с внешним миром, где производимое политической системой решение вызывает реакцию в общественной-политической среде, а реакция, в свою очередь, формирует новый запрос [Easton 1965]. С этой точки зрения интернет-коммуникация, в особенности коммуникация на политические темы и посвященная государственным решениям, представляет собой особенно интересный случай, как подтверждающий классические представления об общении системы принятия решений и внешнего мира на новом техническом уровне, так и проходящий как будто поверх или параллельно традиционных социально-политических коммуникативных каналов.

Интернет-высказывания, с одной стороны, привязаны к персоналии высказывающегося – блогера, комментатора, перепостившего, –

и в этом смысле создание интернет-мема и его пересылка мало отличаются от зарождения в глубинах социума анекдота или частушки, их «обкатывания» и совершенствования при каждой передаче и последующего распространения наиболее совершенного – лаконичного, выразительного – варианта и его закрепления в коллективной памяти и сознании. С другой стороны, специфическое сочетание анонимности и быстроты распространения – того, что в сети называется «вирусностью», практически убирает из схемы Ласуэлла элемент «кто говорит». Кто создает мем и, что важнее, кто говорит мемом? Не тот, кто его перепостил, но сама сеть – сложноструктурированное, плотное пространство коммуникации.

По этим причинам попытка концептуального осмысления феноменов интернет-пространства сопровождается рядом сложностей. Неугасающая актуальность и виртуальная природа мема затрудняют формулирование его дефиниции. С формальной точки зрения интернет-мем охватывает достаточно широкий круг медиаобъектов: от изображений и аудиодорожек до текстовых постов и видеороликов. Однако такой характеристики недостаточно. Тот факт, что среди картинок и надписей могут быть и элементы массовой культуры (сцена из фильма, строчка из песни и т. п.), и просто копии предметов искусства, размывает границы интернет-мема и заставляет задуматься о его содержательном критерии. Как мы считаем, термин «интернет-мем» сегодня описывает не сам медиаобъект, но его специфический статус в интернет-пространстве, подразумевающий разрастающуюся популярность на цифровых платформах, а также считываемый определенной аудиторией юмористический посыл.

Основными цифровыми каналами сегодня являются такие социальные сети и мессенджеры, как Twitter, ВКонтакте, Facebook и др. Их эффективность как платформ коммуникации обусловлена простотой использования. Интернет-мем органично встроился в правила этой новой коммуникационной манеры. Он может быть создан самостоятельно и анонимно, легко загружается в чат, перенаправляется по необходимости в другие диалоги, а главное – позволяет в лаконичной и универсальной форме выразить не только мысль, но и эмоцию, с ней связанную.

Эта двойная содержательная нагрузка соответствует знаковой природе мема: во взаимном влиянии вербальной и визуальной составляющих создается многоуровневый смысл, требующий от интернет-пользователя интеллектуального усилия – дешифровки мема – для его понимания. Сложность этой задачи состоит в том,

что мем зачастую совмещает несколько дискурсивных полей (профессиональное, художественное и т. д.). Как пишет И. В. Бугаева, пользователь должен с помощью всех своих опыта и знаний восстановить «спрессованные» в интернет-меме связи и компоненты [Бугаева 2011]. Помочь же ему в этом может сама структура мема. Интернет-мем зачастую создается на основании всем известных шаблонов [Блинова 2019]. Их визуальная красочность и включенность в культуру на эмоциональном уровне вызывает у интернет-пользователя ассоциативную реакцию, чем минимизирует его собственные интеллектуальные усилия.

Специфика интернет-мема определяет и его роль в современной коммуникации. Согласно Г. Тэджфелу, естественной потребностью каждого является обретение собственной социальной идентичности. Социальная идентичность – это знание индивида о своей принадлежности к тем или иным социальным группам, что сопровождается принятием их ценностных установок, переживанием эмоциональной привязанности к ним, а также самоидентификацией [Tajfel 1972, 292]. Обмен мемами сегодня играет не последнюю роль в процессе самоидентификации интернет-пользователей. Факт понимания мема позволяет интернет-сообществу и каждому его участнику разделить виртуальное пространство на две группы: «ин-группа» (свои) и «аут-группа» (чужие). Благодаря поддержке информационного обмена и сохранению имиджа группы [Бурдые 2002], сообществу «своих» удастся не только сохранить уже существующие внутригрупповые связи, но и закрепить внешнюю границу сообщества по критерию распознавания его специфических мемов.

Эта двунаправленность мема соответствует тенденциям современной культуры, в которой четко усматривается тяга к билатеральной коммуникации между обществом и государством. В связи с этим мем может быть рассмотрен не просто как средство развлечения, но и как инструмент обратной связи [Канашина 2019].

Остановимся на этом чуть подробнее. Можно ли считать мемы инструментом обратной связи в том смысле, в каком это понимается в политической теории? С одной стороны, мемы и интернет-картинки трудно отнести к функции артикуляции интересов – если они и содержат реакцию на решение, то не содержат собственного запроса. При этом, как мы помним из схемы Истона, политическая система воспринимает именно запросы как материал для выработки последующих решений. Обратим внимание, однако, на то, что в «коммуникационной петле» (feedback loop), по Истону, оба общающихся сосуда (система принятия решений и среда, в которую

решения поступают) влияют друг на друга: общество меняется под влиянием государственных решений, машина власти погружена в общественную среду и находится от неё в динамической зависимости. Кроме того, не всякая политическая коммуникация есть диалог, и диалогической моделью не исчерпываются виды обратной связи в политических системах [Мелконян 2017]. С этой точки зрения и безавторность, и безадресность интернет-мемов не только не препятствуют их коммуникативной функции, но являются свойствами, усиливающими их проникновенность и уже упомянутую виральность. Мем, подобно анекдоту, неопровержим, неотразим никаким аргументом и в короткий срок своей жизни (о чем речь ниже) вездесущ и незабываем.

Подобная социальная значимость мема как юмористического феномена косвенно подтверждается при ознакомлении с теориями происхождения юмора. В рамках теории утешения [Bain 1859] мемы помогают снизить эмоциональное напряжение индивида: он видит, что вызывающий эмоции мем популярен и у других пользователей, и, как результат, ощущает приятное единство с сообществом. В рамках же теории несоответствия [Beattie 1996, 321] интернет-мемы помогают индивиду обнаружить нестыковки между действительностью и представлениями о ней, что процессуально доставляет ему положительные эмоции.

Из всего этого следует, что интернет-мем как инструмент обратной связи может служить, во-первых, снижению уровня социального напряжения, во-вторых, осмыслению существующих в обществе норм и проблем. Каждая из этих задач достижима для мема только при одном условии – при его злободневности [Канашина 2019], своевременном отклике на события или инфоповоды общественно-политического характера, произошедшие недавно или происходящие прямо сейчас.

Это требование актуальности своей оборотной стороной имеет краткий «жизненный цикл» интернет-мемов. Современная «инстант-культура», культура момента, характеризуется чрезвычайно быстрым появлением и исчезновением культурных элементов [Зиновьева 2015, 178–184]. Аналогичной чертой наделен и мем: при всей его узнаваемости время от роста его популярности до его забвения стремительно уменьшается. Чем чаще создаются мемы, тем быстрее они устаревают.

Таким образом, основываясь на тезисе о том, что знаковая природа интернет-мема делает его способом реагирования пользователей на текущую общественно-политическую ситуацию, мы предла-

гаем в данной работе осуществить анализ мемов о пандемии в российском медиапространстве с помощью следующего алгоритма:

- поиск в визуальной части мема уже известного информационного шаблона;
- исследование отдельных смыслов визуальной составляющей мема, исходя из наличествующих в нём элементов (персонажи, события и т. д.);
- интерпретация смыслового наполнения визуальной составляющей мема;
- выявление дискурсивных элементов вербальной составляющей мема;
- смысловая оценка вербальной составляющей мема;
- соотнесение смыслов вербальной и невербальной составляющих мема;
- определение общего смысла мема.

Пандемия COVID-19 через призму интернет-мемов

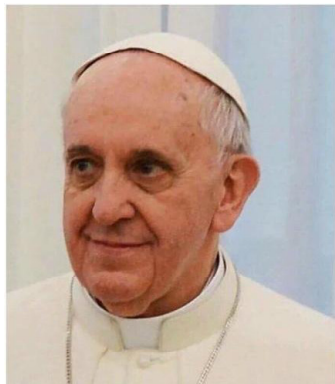
Период пандемии COVID-19 для глобальной сети вообще и российского ее сегмента в частности характеризуется активным ростом числа интернет-мемов. Карантин ограничил и испугал современного человека с его приоритетом визуального восприятия: лишенный непосредственного взаимодействия с миром и другими людьми индивид оказался вынужденным искать новые невербальные виртуальные способы сублимации своих переживаний. Мем, в котором визуальный компонент доминирует над вербальным [Хорошилов 2015, 40] и который апеллирует в первую очередь к эмоциональному интеллекту, в таких условиях стал коммуникационно незаменимым.

Анализ основных каналов распространения мемов в российском медиапространстве (группы в социальных сетях и мессенджерах; сайты и тематические подборки в СМИ) позволяет говорить о том, что интернет-мемы в России в период пандемии посвящены не только самому наличию вируса или высокой скорости его распространения, но и мерам борьбы с «коронай» со стороны органов государственной власти [Мусийчук, Мусийчук 2020]. Мемы об этом предложены нами ниже в хронологическом порядке и проанализированы на основании разработанного выше алгоритма.

В целях борьбы с инфекцией в самом начале пандемии на федеральном уровне был введён режим самоизоляции, в рамках которого большинству людей пришлось перейти на дистанционный

формат работы [Указ Президента РФ 2020; Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ 2020]. Это событие моментально стало одной из главных тем для создания мемов (ил. 1).

Работа в офисе



Работа из дома



Ил. 1. Интернет-мем homeoffice. Из открытых источников:
https://pikabu.ru/story/staryiy_mem_na_novyiy_lad_7308945?cid=164611606

Мем homeoffice создан по шаблону «ожидание / реальность»: объединение изображений на основании их несоответствия. На картинке изображены два внешне схожих человека, однако их тождество иллюзорно: слева изображен Папа Римский Франциск, а справа – персонаж сериала «Игра престолов» Его Воробейшество. Их объединяет высокий религиозный статус, только Папа Римский выглядит ухоженно, а внешний вид Его Воробейшества оставляет желать лучшего.

Пандемический контекст и иронический характер мем приобретает во взаимодействии с его вербальной составляющей. К каждой части изображения добавлена надпись. Согласно ей хорошо выглядящий Папа Франциск работает в офисе, в привычном до начала пандемии режиме, а неухоженный персонаж справа трудится удаленно, из дома.

Объединение визуального и вербального смыслов позволяет утвердить двоякий смысл мема homeoffice: во-первых, офисный работник в дистанционном формате перестает за собой следить, так как теряет необходимость выходить из дома; во-вторых, недостаточная готовность предприятий к удаленной работе привела к тому, что дистанционно офисные сотрудники стали работать еще больше, чем до начала пандемии [Костина, Макаренко, Матвеев 2020, 1440].

В силу того, что в России существует множество других профессий, для которых дистанционный формат вызывает еще большие трудности, в медийном поле появились мемы и другого содержания (ил. 2).



Ил. 2. Интернет-мем «Правительство заставляет работать из дома».
Из открытых источников: <https://ok.ru/b10.drive/topic/151614230950125>

Визуальная сторона данного мема состоит из соединённых в коллаж четырёх изображений абсурдного содержания. Мы видим взрослых мужчин, которые занимаются странной деятельностью: двое развлекаются с детскими игрушками (поезд, самолетик), один достаточно агрессивным способом снимает кафель в комнате, а последний персонаж как-то умудрился заехать на машине в подъезд.

Вербальная составляющая мема состоит из нескольких пояснительных надписей. Наверху в виде восклицательного предложения обозначено требование правительства работать дома, а каждое из изображений мужчин подписано соответствующей профессией: машинисты, пилоты, археологи и таксисты.

Юмористический смысл мема возникает при совмещении текста и изображений: приказ правительства, конечно, могут выполнить и машинисты, и пилоты, и археологи, и таксисты, но такая работа будет похожа на абсурд. Машинисту придется играть с ненастоящими поездами, пилоту достанется разве что бумажный самолетик, археолог будет проводить раскопки в собственной квартире, а таксисту останется только перенести все свои заказы по перевозкам на лестничную клетку.

Этот мем можно интерпретировать как протест представителей ряда профессий против введенных государством ограничений и даже упрек государству в недостаточной осведомленности о финансовом положении своих граждан, которые не могут позволить себе переход на удаленную работу. Стоит отметить, что Министерство промышленности и торговли РФ пыталось работать с возникшей проблемой: оно подготовило программы по распределению расходов и субсидиям пострадавшим рабочим областям [Письмо Министерства промышленности и торговли РФ 2020]. Однако, как очевидно из мемов, этого оказалось недостаточно, да и со временем чрезвычайная проблематика в Правительстве ушла на задний план.

Удаленная работа как карантинная мера была зафиксирована и введена в понятийный оборот не только в правительственных документах [Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ 2020, Федеральная служба по труду и занятости РФ 2021], но и среди интернет-пользователей. Дистанционный формат привёл к возникновению в российской медиасфере самых разных вариантов мема «Удалёнка» (ил. 3).



Ил. 3. Интернет-мем «Удалёнка». Из открытых источников:
https://www.yaplakal.com/forum2/topic2086140.html?_sm_byp=iVV7-KHMvjbrCZVTR

Шаблоном этого мема является изображение известного и даже символически значимого для России молочного шоколада Алёнка. На его обертке изображена маленькая девочка в народном платке, завязанном на старый манер. В первую очередь в глаза бросается дорисованная авторами мема на Алёнке медицинская маска. Смотря на нее, осознаешь, что девочка живет уже не в счастливом советском прошлом, а в новое эпидемиологически страшное время.

Дополнительный смысл привносится и посредством изменения вербальной составляющей обертки. Перед названием «Алёнка» небрежной рукой автора приписан слог «уд», в результате чего девочка в маске моментально превращается в «удАлёнку».

Общим смыслом данного мема является переосмысление слова «удалёнка» во время пандемии: если раньше оно ассоциировалось только с фрилансом, то теперь это данность каждого гражданина России; данность, возможно, не такая же символически важная, как «Алёнка», но не менее существенная.

Помимо введения дистанционного формата, в ранний период пандемии в некоторых регионах был введен режим самоизоляции, предполагающий наказание в виде штрафа за его нарушение [Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 2021]. Выход на улицу был разрешен только для похода в магазин или прогулки с собакой, что не могло не вызвать общественную реакцию (ил. 4).



Ил. 4. Интернет-мем «Карантинные ограничения». Из открытых источников:
<https://maskiest.ru/blog/poleznye-materialy/shtrafy-za-narushenie-karantina-koronavirusa/>

Основой мема «Карантинные ограничения» является фото Сергея Глинского с акции протеста в Минске 19 декабря 2010 года, известной под названием «Плошча 2010» [Глинский 2010]. На кадре мы видим, как полицейский с щитом и дубинкой гонится за убегающим мужчиной в черном, предположительно митингующим.

Вербально изображение дополнено двумя надписями. Первая указывает на возглас полицейского: «Стоять!», – а вторая принад-

лежит уже убегающему, и именно она создает комический эффект изображения.

Общий смысл мема таков: ситуация с пандемией настолько накалена, что государство вынуждено контролировать выходы граждан из дома; последние же при переступании порога испытывают стресс, словно преступники, а прогулка без повода становится для них чем-то вроде «запретного плода».

В 2020–2021 годах в контексте борьбы с инфекцией на сайте Минздрава России был сформирован раздел о коронавирусе. В нем публикуются статистические данные и рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19 [Министерство здравоохранения Российской Федерации 2021]. Одной из мер профилактики является медицинская маска [Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 2021], активно обсуждаемая на просторах интернета (ил. 5).



Ил. 5. Интернет-мем «Маска». Из открытых источников:
<https://twitter.com/verbludvogne/status/1224313464530907136>

Шаблон «Раньше / сейчас» представляет собой одну из разновидностей мемов «Ожидание / реальность», построенных на несоответствии двух и более частей. На иллюстрации мы видим два изображения с соответствующими надписями: справа уже знакомая нам медицинская маска, подписанная словами «в тренде сейчас», а слева – слова «в тренде раньше», сопровождаемые страшной маской с клювом.

Трагикомический эффект данного мема возникает при знании о том, что представляет собой эта маска чумного доктора. Появившись в Средние века, она принадлежала врачам, которые боролись

с эпидемией бубонной чумы. Они считали, что такая устрашающая маска защитит их от инфекции, а точнее, просто-напросто отпугнет ее.

Таким образом, в этом меме можно рассмотреть скептический посыл: медицинская маска сродни маске чумного доктора, если она что-то и делает, так это пытается болезнь отпугнуть, но не защищает от нее всерьез.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, помимо масок, для предотвращения распространения вируса рекомендовала тщательно обрабатывать руки [О рекомендациях для работодателей 2020]. И санитайзер, наравне с маской, стал атрибутом новой пандемической реальности (ил. 6).



Ил. 6. Интернет-мем «Меры предосторожности».
Из открытых источников: <https://smeyakaka.ru/post/992/>

Уже известный нам шаблон «Раньше / сейчас» в этом меме наполнен новым содержанием. Слева изображены наушники, которые являются незаменимым аксессуаром современного человека: с их помощью он слушает музыку, смотрит видеоматериалы, разговаривает с друзьями и родными, читает аудиокниги и в принципе организует свое свободное время. Справа сфотографирован антисептик, который можно найти в сумке практически у любого человека во время пандемии.

Данный мем воплощает следующий тезис: если раньше были незаменимы наушники, то сейчас из дома не выйти без антисептика; развлечение ушло на второй план, а на первый вышел страх заболеть, – вот как человек зависим от обстоятельств.

Спустя несколько месяцев пандемии, после появления российской вакцины «Спутник V», Правительство активно занялось кампанией по вакцинации. Министерство здравоохранения РФ выступило с требованием вакцинации взрослого населения [Письмо Минздрава России 2021]. Некоторые регионы приняли решение об обязательной вакцинации сотрудников определенных сфер занятости: например, работодатели сферы услуг должны были обеспечить вакцинацию не менее 80 % сотрудников. В связи с этим предлагаем обратить внимание на мем «Вакцинация» (ил. 7).

1. ОТРИЦАНИЕ
2. ГНЕВ
3. ТОРГ
4. ДЕПРЕССИЯ
5. СЕРТИФИКАТ О ВАКЦИНАЦИИ

Ил. 7. Интернет-мем «Вакцинация». Из открытых источников: <https://letidor.ru/otdyh/vakcinaciya-i-qr-kody-13-samykh-smeshnykh-memov-o-novykh-ogranicheniyakh.htm>

В силу того, что визуальной основой данного мема является список, предлагаем сразу обратиться к его вербальному наполнению. В списке пять пунктов, первые четыре из которых вызывают у пользователя однозначную ассоциацию: отрицание, гнев, торг, депрессия – это широко известные стадии принятия горя, предложенные Элизабет Кюблер-Росс. Однако воспроизведены эти стадии не совсем в согласии с оригиналом. Вместо пятого пункта, которым у Кюблер-Росс является «принятие», автором вписаны слова «сертификат о вакцинации».

В конечном счете посредством языковой манипуляции с уже известным культурным кодом вакцинация в данном меме представлена как неизбежность: вакцинируются все, просто кто-то согласится сразу, а кто-то пройдет все стадии «принятия горя».

Еще одной привлечшей внимание интернет-аудитории антиковидной мерой стала технология QR-кодов, которые применялись властями для допуска в места общественного пользования только привитых граждан [ТАСС 2021] (ил. 8).

Скоро у всех ресторанов Москвы



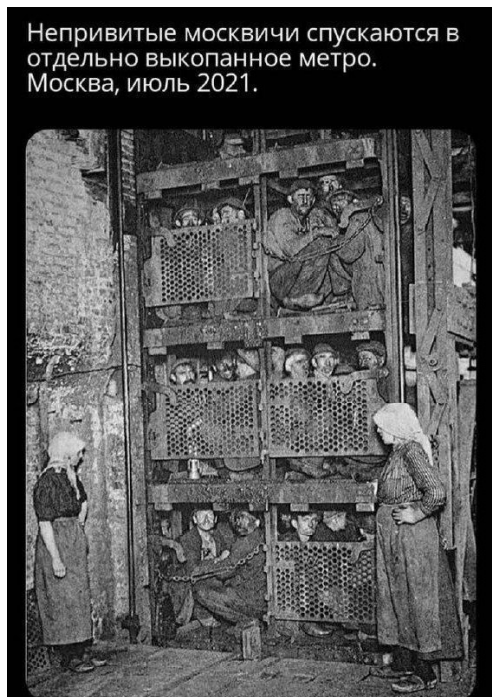
Ил. 8. Интернет-мем «QR-код». Из открытых источников:
<https://www.instagram.com/p/CQqLLZXrht7/>

В меме «QR-код» в качестве основы использован кадр из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию». Главный герой Шурик в попытках найти детали для починки своей машины времени встречает спекулянта. Характерным раскрытием пальто тот пытается завлечь ученого редкими деталями и механизмами. Автор мема несколько поменял визуальное оформление кадра: фоном выступает вход в кофейню «Шоколадница», а вместо радиодеталей у спекулянта множество QR-кодов.

«Скоро у всех ресторанов Москвы», – так подписан мем, и, прочитав это, интернет-пользователь понимает: вместе с внедрением нового правила появятся два типа людей – первые захотят на этом заработать, а вторые отдадут любые деньги, лишь бы попасть в любимую кофейню.

Контроль вакцинации с помощью QR-кодов вызвал волну общественного возмущения, так как некоторые люди интерпретировали эту меру как новый вид социальной дифференциации. Возмущение выражалось в том числе в мемах (ил. 9).

Основой мема «Вакцинация» является фото бельгийских шахтеров начала XX века. На нем измученные и грязные мужчины возвращаются на землю после окончания рабочего дня, доверху заполнив лифт угольной шахты. Автором мема изображение дополнено пояснительной надписью, которая радикально меняет смысл происходящего на картинке: это не шахтеры поднимаются, это неприжившие москвичи спускаются в отдельное выкопанное для них метро.



Ил. 9. Интернет-мем «Вакцинация». Из открытых источников: <https://letidor.ru/otdyh/vakcinaciya-i-qr-kody-13-samykh-smeshnykh-memov-o-novykh-ogranicheniyakh.htm>

В результате взаимодействия надписи и фото у мема появляется ярко выраженный правоборческий посыл: непривитые люди, по мнению многих из них, сегодня подвергаются дискриминации, что может дойти до попыток общества максимально сепарировать их от привитого населения.

В 2021 году из-за активного распространения коронавирусной инфекции период с 30 октября по 7 ноября в России был объявлен нерабочим [Указ Президента РФ 2021]. Поводом для общественного возмущения стала парадоксальность такой меры: были отменены все массовые мероприятия и закрыты пункты общественного питания, но границы с некоторыми курортными странами оставались открытыми (ил. 10).

Основной визуальный акцент данного мема приходится на мужчину, стоящего с поднятым вверх пальцем в знак одобрения. Этот персонаж небезызвестен: дед Гарольд стал популярен в интернете много лет назад благодаря необычному выражению лица – за натянутой улыбкой Гарольда просвечивает боль, которую ему так и не удалось скрыть.

- Извините, в кинотеатр нельзя - локдаун.
- А куда можно?
- В Египет.



Ил. 10. Интернет-мем «Нерабочая неделя в ноябре».
Из открытых источников: https://vk.com/wall-23213239_490177

Предмет этой боли для создателя мема и его аудитории становится очевидным при чтении надписи. Во время локдауна многие привычные виды досуга стали недоступными, но при этом сохранились возможности для заграничных поездок. Назвать Египет и кинозал равноценными альтернативами сложно: поездка на курорт требует намного больше усилий, вложений и времени, чем более доступный поход в ближайший торговый центр.

Выводы

Современность с ее тенденцией к глобализации значительно повлияла на формы коммуникации. Двунаправленность, а также взаимодействие виртуальных ресурсов стали приоритетом при взаимодействии не только индивидов, но и государства и общества. Одним из инструментов обратной связи для граждан является интернет-мем. Не являясь инструментом диалога и по природе своей не требуя ответа, не будучи частью механизма артикуляции интересов, мем своей злободневностью, доходчивостью и «неотразимостью», свойственным юмористическому высказыванию, формирует представление об общественной атмосфере, «общем мнении» в реакции на то или иное государственное решение.

Будучи медиаобъектом, он получает в интернет-пространстве свой особый статус посредством юмористического содержания,

визуально оформленного с учетом уже известных тому или иному интернет-сообществу культурных ассоциаций. Таким образом творческий потенциал мема вызывает волну его популярности у интернет-аудитории и позволяет не только сублимировать народное возмущение, но и дать понимание о предмете недовольства. Деконструкция этого интернет-феномена возможна за счет сепарации его визуальной и вербальной составляющих, а затем гармоничного соединения их в единое целое.

Исследование мемов в российском медиапространстве 2020–2021 годов позволяет заключить, что интернет-пользователи не в последнюю очередь обсуждали правительственные меры по борьбе с инфекцией коронавируса. Обыгрывая уже известные шаблоны, авторы мемов с помощью надписей или незначительных визуальных изменений полностью меняют посыл картинки: юмористический смысл чаще всего приобретает саркастический оттенок, вызванный недовольством и экзистенциальным переживанием интернет-аудиторией абсурдности, с одной стороны, принятых государством мер, а с другой – какого-либо объяснения таких решений. Такой анализ позволяет обнаружить точки наибольшего социального напряжения, увидеть общественную реакцию на правительственные меры, чтобы в дальнейшем откорректировать политико-управленческие решения и использовать новые коммуникативные стратегии для их внедрения.

Несмотря на краткий срок жизни отдельного мема, то впечатление, которое он создает своим сочетанным действием, часто формирует устойчивый образ исторического периода, решения или актора, который переживает сам первоначальный мем и становится частью коллективного сознания.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Блинова 2019 – Блинова О. А. Мультимодальность в сетевом политическом дискурсе: интернет-мемы о независимости Шотландии // Научный диалог. 2019. № 10. С. 79–93.
- Бугаева 2011 – Бугаева И. В. Демотиваторы как новый жанр в интернет-коммуникации: жанровые признаки, функции, структура, стилистика // Стиль. 2011. № 10. С. 147–158.
- Бурдые 2002 – Бурдые П. Формы капитала // Экономическая социология. 2002. Т. 3, № 5. С. 60–75.

- Голованова, Маджаева 2020 – Голованова Е. И., Маджаева С. И. О словаре эпохи пандемии коронавируса // Вестник ЧелГУ. 2020. № 7. С. 48–55.
- Глинский 2010 – Глинский С. Фото с акции протеста в Минске. 2010. URL: https://vk.com/sereza.hlinski?z=photo3746417_199860288%2Fphotos3746417 (дата обращения: 25.10.2021).
- Зиновьева 2015 – Зиновьева Н. А. Воздействие мемов на интернет-пользователей: типология интернет-мемов // Вестник экономики, права и социологии. 2015. № 1. С. 178–184.
- Канашина 2019 – Канашина С. В. Интернет-мем и политика // Политическая лингвистика. 2019. № 1 (61). С. 69–73.
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 2021 – Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 01.07.2021; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2021). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/0a2ba7a26adcfaf416705508b8605c0219169901/ (дата обращения: 25.10.2021).
- Костина, Макаренко, Матвеев 2020 – Костина И. А., Макаренко К. С., Матвеев В. В. Особенности перехода на удаленную работу в связи с пандемией и её перспективы после снятия ограничительных мер // Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения. 2020. № 3. С. 1439–1443.
- Мелконян 2017 – Мелконян Н. Виды и функции обратной связи в диалоговых политических коммуникациях // Вестник Ереванского университета. Социология, экономика. 2017. № 2 (23). С. 29–36.
- Министерство здравоохранения Российской Федерации 2021 – Министерство здравоохранения Российской Федерации: официальный сайт. 2021. URL: <https://minzdrav.gov.ru/news/koronavirus> (дата обращения: 24.10.2021).
- Мусийчук, Мусийчук 2020 – Мусийчук М. В., Мусийчук С. В. Юмор как эффективная стратегия совладения на самоизоляции в период пандемии коронавируса // Мир науки. 2020. Т. 8, № 5. URL: <https://mir-nauki.com/PDF/51PDMN520.pdf> (дата обращения: 25.10.2021).
- О рекомендациях для работодателей 2020 – О рекомендациях для работодателей по профилактике коронавирусной инфекции на рабочих местах. 2020. URL: <http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64846.html/> (дата обращения: 30.10.2021).
- Письмо Министерства промышленности и торговли РФ 2020 – О работе промышленных предприятий в условиях пандемии COVID-19: письмо Министерства промышленности и торговли

- РФ от 07.04.2020 № ЕВ-23970/17. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73768134/> (дата обращения: 25.10.2021).
- Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ 2020 – Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 23.04.2020 № 14-2/10/П-3710. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351512/96c60c11ee5b73882df84a7de3c4fb18f1a01961/ (дата обращения: 27.10.2021).
- Письмо Минздрава России 2021 – Письмо Минздрава России от 29.06.2021. URL: https://rosreestr.gov.ru/upload/Doc/09-upr/Метод_реком_Минздрава%20от%2029.06.2021.pdf (дата обращения: 30.10.2021).
- ТАСС 2021 – Что такое QR-коды и история их использования / ТАСС. 2021. URL: <https://tass.ru/info/11767111> (дата обращения: 30.10.2021).
- Указ Президента РФ 2020 – О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19): указ Президента РФ от 02.04.2020 № 239. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349217/ (дата обращения: 27.10.2021).
- Указ Президента РФ 2021 – Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре–ноябре 2021 г.: указ Президента РФ от 20.10.2021 № 595. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_398714/ (дата обращения: 31.10.2021).
- Федеральная служба по труду и занятости РФ 2021 – Перечень мер в связи с коронавирусом (COVID-19) / Федеральная служба по труду и занятости РФ. 2021. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348585/e7a6eb8f5e7f35df9446fc6fca3ca7f6dfc40e08/ (дата обращения: 29.10.2021).
- Хорошилов 2015 – Хорошилов А. А. Фотография и визуальное восприятие // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер. 1, Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология. 2015. № 1 (156). С. 33–40.
- Ягодкина 2019 – Ягодкина М. В. Мемы в интернет-коммуникации // Art Logos. 2019. № 2 (7). С. 142–152.
- Bain 1859 – Bain A. The Emotions and the Will. London: Longmans, Green & Co., 1859. 649 p.
- Beattie 1996 – Beattie J. On Laughter and Ludicrous Composition // Essays: On Poetry and Music. London: Routledge / Thoemmes Press, 1996. P. 321–487.

Easton 1965 – *Easton D.* A Systems Analysis of Political Life. New York: Wiley 1965. xvi, 507 p.

Lasswell 1948 – *Lasswell H.* The structure and function of communication in society // The Communication of Ideas / L. Bryson (ed.). New York: Harper and Brothers, 1948. P. 37–51.

Tajfel 1972 – *Tajfel H.* Social categorization // Introduction à la psychologie sociale / ed. S. Moscovici. Paris: Larousse, 1972. Vol. 1. P. 272–302.

Материал поступил в редакцию 31.10.2021

Материал поступил в редакцию после рецензирования 06.12.2021

ИКОНОЛОГИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ «СТИХОТВОРЕНИЙ» КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА ПАЛЕЯ

А. В. Марков

Российский государственный гуманитарный университет, Москва, Россия
markovius@gmail.com

Сборник «Стихотворения» (1916) князя Владимира Палея не имеет общего сюжета и композиции, представляя разрозненные лирические впечатления, однако композиционную организацию осуществляют вне-текстовые изобразительные элементы: заставки и виньетки. Отвечая кол-лекционерскому вкусу автора сборника, они заставляют читать его лирику иначе: не как передачу личных впечатлений, но как сложное выстраивание собственной идентичности с опорой на различные языки культуры. Использование иконологического метода и обращение к ресурсам визуальной семиотики позволяют показать, как благодаря порядку иллюстраций отдельные мотивы романтической и модернистской поэзии перестают быть самодостаточными, становясь лишь моментами в обретении более целостной лирической позиции.

Анализу подвергнуты такие элементы оформления книги, как картуши с названиями стихотворений, заставки-иллюстрации с изображениями пейзажных и жанровых сцен и разрозненные виньетки, при этом охвачен весь объем иллюстративного сопровождения сборника. Хотя оформление книги принципиально сдержанное, что отвечало новым установкам вкуса военного времени, каждый из видов художественного сопровождения выстраивает свою программу прочтения стихотворений, не позволяя свести содержание отдельных стихов к воспроизведению романтических, неоромантических или символистских мотивов.

Показано, в какой мере картуши с названиями стихотворений могут помочь образованному читателю тематизировать соотношение природы и истории, деавтоматизировав восприятие заглавия как указания только на предметную тему. Декор этих элементов указывает как на взаимоотношение мира природы и мира культуры, так и на недостаточность отдельных языков или семиотических образований для передачи идеи метафизического предназначения человека. Три стихотворения, снабженных такими картушами, выстраивают самостоятельный сюжет присутствия в природе не только фатальных сил, но и метафизических озарений.

Заставки-иллюстрации потребовали специальной интерпретации, исходящей из знания реалий и содержательного смысла отдельных живописных жанров. Доказано, что снабженные такими заставками стихотворения передают общий сюжет независимости интимной душевной жизни от готовых паттернов восприятия истории. В этих стихотворениях господствует идея интимизации истории как единственного способа осмыслить значение исторических катастроф. Наконец, отдельные виньетки позволяют прочитывать весь массив стихотворений данной книги как поддержи-

вающий основную идею принятия природной необходимости ради преодоления частных представлений о судьбе, с необходимой христианской реинтерпретацией предчувствий и отдельных символических указаний.

Таким образом, иллюстративный режим книги отвечает принципам многоязычия и полистилистики русского модерна. Проведенное исследование позволяет уточнить как ориентиры официальной русской культуры предреволюционного времени, так и специфику поэтического творчества Владимира Палея как одного из наиболее ярких случаев поддержки оригинальной поэтики визуальной семиотикой природных и культурных объектов.

Ключевые слова: князь Владимир Палей, лирическая позиция, лирический герой, полистилистика, иконология, книжная иллюстрация, эмблема.

ICONOLOGY OF THE PICTORIAL ELEMENTS OF POEMS BY PRINCE VLADIMIR PALEY

Alexander V. Markov

Russian State University for the Humanities, Moscow, Russia
markovius@gmail.com

The collection *Poems* (1916) by Prince Vladimir Paley does not have a common plot and composition, it presents scattered lyrical impressions. The composition of the collection is organized by extra-textual pictorial elements: headpieces and vignettes. Responding to the collector's taste of the poet, these elements force one to read his lyrics differently: not as a transfer of personal impressions, but as a complex construction of his own identity based on various cultural languages. The use of the iconological method and appeal to the resources of visual semiotics allow showing how, thanks to the order of illustrations, certain motifs of romantic and modernist poetry cease to be self-sufficient, becoming only moments in the acquisition of a more holistic lyrical position. Such design elements of the book as cartouches with the titles of poems, headpieces with images of landscape and genre scenes, and scattered vignettes were analyzed; the entire volume of the book's illustrative accompaniment was covered. The article shows that despite the fact that the design of this book is fundamentally restrained, which corresponded to the new settings of the taste of wartime, each type of artistic accompaniment builds its own program for reading these poems, not allowing the content of individual poems to be reduced to the reproduction of romantic, neo-romantic or symbolist motifs. The article demonstrates how cartouches with the titles of the poems allowed educated readers to thematize the relationship between nature and history by de-automating the perception of the title as an indication only of a subject topic. The decor of these elements

indicates both the interpenetration of the natural world and the world of culture, and the inadequacy of individual languages or semiotic formations to convey the idea of a person's metaphysical destiny. Three poems with the cartouches build an independent plot of the presence in nature of not only fatal forces, but also metaphysical insights. Illustrations-headpieces demanded a special interpretation based on knowledge of the realities and conceptual meanings of certain painting genres. The article proves that poems with the headpieces convey the general plot of the independence of an intimate mental life from ready-made patterns of history perception. In these poems, the idea dominates of intimizing history as the only way to comprehend the meaning of historical catastrophes. Finally, individual vignettes allow reading the entire array of the poems in this book as supporting the main idea of accepting natural necessity in order to overcome private ideas about fate, with the necessary Christian reinterpretation of forebodings and individual symbolic indications. Thus, the illustrative mode of the book corresponds to the principles of multilingualism and polystylistics of Russian modern style. The study allows clarifying both the landmarks of the official Russian culture of the pre-revolutionary period and the specificity of the poetic works of Vladimir Paley as one of the most striking cases of supporting the original poetics with the visual semiotics of natural and cultural objects.

Keywords: Prince Vladimir Paley, lyrical position, lyrical hero, polystylistics, iconology, book illustration, emblem.

DOI 10.23951/2312-7899-2022-2-68-87

Иконологический метод становится одним из актуальных способов изучения живописных, в том числе иллюстративных, программ прежде всего потому, что позволяет не сводить художественные решения к задачам, мыслям или капризам отдельного автора, редактора или издателя. Он освобождает нас от старых культурологических мифологем, таких как стиль эпохи или репутация издательства, но позволяет понять, как работают элементы изобразительности в книгах и других печатных материалах, независимо от того, какой смысл принято было вкладывать в тот или иной элемент. Конечно, культурные смыслы отдельных образов и символов никуда не исчезают, напротив, образованный читатель, который обычно и является адресатом изящно иллюстрированной книги, считывает эти символы и определяет их как обладающие закрепленным значением, однако сами порядки ассоциаций, которые возникают при чтении, направлены на восприятие книги как целого больше, чем на разгадывание отдельных ее загадок. Именно

так иконологический метод, как метод номадический, имеющий в виду переселение символически нагруженных образов в новые эпохи и новые искусства, был изобретен его основателем Аби (Абрахамом Морицем) Варбургом, и именно так он применяется и сейчас, хотя список предметов его расширяется: от рекламных листовок и клипов до городской архитектуры, географических карт и компьютерных игр [Müller 2011].

Телесный поворот в современной иконологии, начатый Х. Белтингом [Belting 2005], как и риторический поворот Л. Олсона [Olson 2004], только усилил внимание к книге как основному медиуму, соизмеримому с человеческим телом, – в этих исследованиях было убедительно показано, что книга оказывается своеобразным полигоном иконологических решений, которые потом могут быть реализованы в других полях – от архитектуры до постеров, что дало новые стимулы во всем мире для изучения таких явлений, как бумажная архитектура или собрание гравюр как собрание парадигматических живописных решений, у истоков чего стоял еще Э. Панофски. В конце концов это привело к становлению таких дисциплин, как иконология естественных объектов [Stein 2021] и иконология дидактических объектов для детей [Farné 2019], которые окончательно утвердили книгу уже не как полигон, а как единственное релевантное медиа для понимания деформаций, происходящих с репрезентируемыми объектами, не как особенностей стиля или задач, но как необходимого встраивание объектов в режимы ожидаемых впечатлений, в то, как, собственно, они и будут правильно считываться. Деформация в широком смысле, включая стилизацию или упрощение, оказывается уже не приемом, а способом прочитывания сложных сообщений, отражающих как непосредственный, так и опосредованный опыт; характерным примером такого невольного применения самых новых тенденций в иконологии стала деятельность российского интернет-сообщества «Страдающее Средневековье».

Исходя из этого, выбор исследовательского объекта неслучаен. Этот объект является одним из итогов интермедиальных поисков русского модернизма (Серебряного века) и создан как парадигматическое достижение российского типографского и оформительского искусства. Это книга начинающего поэта, где произведения, чтобы не выглядеть дилетантскими, получают поддержку в виде иконологического метатекста, который и заставляет воспринимать стихи как культурное высказывание. Наконец, автор был высокопоставленным лицом, родственником правящей династии империи, что

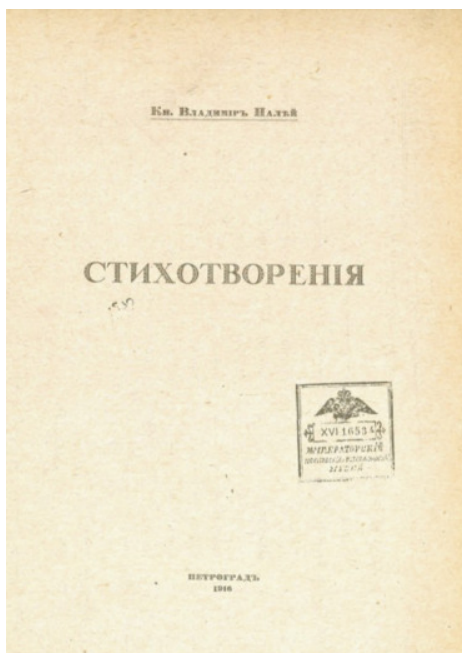
требовало от читателей воспринимать его произведение в ряду других иконологических проявлений династии, таких как торжественные празднества, архитектурные программы и коллекционирование искусства. Такое сочетание факторов делает наш объект идеальным для изучения и демонстрации продуктивности именно новейшего извода иконологии, в котором книга изучается не просто как метатекст, включающий изобразительные элементы, но как манифест, показывающий, как именно репрезентации вещей и идей могут работать так, что показывают значимость самого сложившегося в культуре и образовании сочетания идей. В этом смысле новейшая иконология показывает книгу как динамичный объект, в духе современных арт-объектов, и одновременно подтверждает закономерности культурных ассоциаций образованного читателя, но и обращается с ними так, что читатель принимает мир культуры как новый и продуктивный.

Хотя князь Владимир Павлович Палей хорошо изучен как историческая личность (ил. 1 а), его поэзия чаще всего рассматривается просто как некоторая краска его облика, что разительно отличает его от другого представителя императорского дома, великого князя Константина Константиновича Романова, которого изучают как самостоятельного поэта, уже потом вспоминая его прошлые заслуги (князь Владимир Павлович был, кстати, переводчиком его драмы-мистерии «Царь Иудейский» на французский). Вероятно, такой репутации способствовала более всего молодость автора: когда вышла его единственная прижизненная книга «Стихотворения» [Палей, 1916] (ил. 1 б), автору было всего 19 лет. Подозревать дилетантизм несложно, если против поэтической репутации работают сразу два обстоятельства: позиция вундеркинда, начавшего писать стихи очень рано, в 13 лет, и принадлежность к самой, пожалуй, артистической из семей выходцев из дома Романовых, где увлечения молодого человека могут выглядеть только как часть жизни большой семьи, духовная жизнь которой уже хорошо изучена [Экштут 2017, 29–32]. Обитатели Царского села знали дворец, построенный его родителями, князем Павлом Александровичем Романовым и Ольгой Валериановной Пистолькорс, оборудованный по последнему слову техники и хранивший самые причудливые коллекции, и внутри этого нового образа жизни, внутри нового стандарта светскости, в чем-то даже «нуворишеского», учитывая не просто морганатический, но скандальный брак родителей, выглядевший и как некоторое предательство аристократического идеала [Аверинцев 2011, 123], творчество молодого князя как будто терялось.



Князь Владимир Павлович Палей (28 декабря 1896 / 9 января 1897, Санкт-Петербург – 18 июля 1918, Алапаевск) – сын великого князя Павла Александровича, сына императора Александра II, и Ольги Валериановны Пистолькорс, на момент рождения сына не получившей развода от первого мужа. В детстве жил с родителями в эмиграции в Париже, в 1904 г. получил от баварского принца-регента Луитпольда титул графа фон Гогенфельзен. С 1908 г. воспитывался в Петербурге в пажеском корпусе. Писал стихи с 1910 г., сначала преимущественно по-французски. 5 / 18 августа 1915 г. по указу императора Николая II получил княжеский титул с фамилией Палей, по названию одного из отцовских имений. Служил в лейб-гвардии гусарском полку. Непосредственным покровителем его как поэта был великий князь Константин Константинович Романов, писавший под акронимом К. Р. В мае 1917 г. по нездоровью уволен со службы. 4 / 17 марта 1918 г. арестован по распоряжению Петроградской ЧК. Отказавшись отречься от семьи, отправлен в ссылку сначала в Вятку, потом в Екатеринбург. Казнен в Алапаевске в числе других членов царской семьи. Канонизирован Русской православной церковью за границей 2 ноября 1981 г., почитание его как мученика признано в Русской православной церкви, реабилитирован Генеральной прокуратурой России в 2009 г.

Ил. 1 а. Фото В. П. Палая (см.: https://ru.wikipedia.org/wiki/Палей,_Владимир_Павлович#/media/Файл:Prince_Vladimir_Pavlovitch_Paley_en_1916.JPG)



Книга «Стихотворения» подготовлена автором летом 1916 г. У истоков издания первой книги поэта стояли авторитетные литераторы: знаменитый юрист А. Ф. Кони и не менее известный журналист и критик А. А. Измайлов, высоко оценивший талант начинающего автора и давший ряд редакторских советов. Составление книги полностью принадлежит автору, высказавшему пожелания по оформлению, включая рисунок обложки и выбор шрифтов. Оформление книги соответствовало стандарту изданий типографии Голике и Вильборга, изобразительную программу утвердил автор в июне, находясь в Ставке. Тираж был отпечатан в августе, весь доход с продажи направлялся на благотворительные проекты императрицы Александры Фёдоровны.

Ил. 1 б. Обложка книги «Стихотворения» [Палей 1916] (фото автора статьи)

Как ни удивительно, определенные предпосылки к введению Владимира Палея в канон ключевых литературных деятелей Серебряного века, определивших облик эпохи, создала А. А. Ахматова. В беседе с А. Г. Найманом [Найман 1999, 23] она вспоминала быт этих царскоселов и отзывалась об Ольге Валериановне как о женщине малонаблюдательной и неодаренной. Для Ахматовой это вполне могло быть способом как раз отодвинуть в сторону мать, коллекционера и светскую львицу, в отличие от всей семьи избежавшую казни, объявив это некоторым «нуворишеством», и тем самым создать образ настоящего аристократизма, выделяющегося на этом фоне, – вообще переизобретение аристократизма, царственного спокойствия в противоположность более демократическим увлечениям Серебряного века, было одной из важнейших стратегий Ахматовой в советское время [Аверинцев 1995, 10]. Конечно, для реконструкции возможного влияния поэзии Палея на Ахматову и далее время еще не настало, хотя очевидны, например, типологические переключки между стихотворениями «Павловск» Л. Аронсона (1961) и «Павловский парк» Владимира Палея: общность темы слияния лирического героя с осенним настроением, растворения в природе в ожидании неопределенного будущего, переживания природы как мира разнообразных предзнаменований, которые невозможно до конца разгадать поразительна. То, что каталогизатором собрания князей Палеев выступил Э. Голлербах [Голлербах 1922], человек очень важный в судьбе Ахматовой и в судьбе Павловска, создатель мифа о Павловске [Марков 2020б], тоже исключительно значимо, тем более что декор книги Голлербаха напоминает по воспроизведению элементов рам и декоративных конструкций рококо книгу Палея. Следует заметить также, что Ольга Валериановна Палей была не только создательницей дворца как целостного произведения искусства, но и протокуратором – после Февральской революции она сама водила экскурсии по своему дворцу, показывая интерьеры и коллекции.

Итак, сборник князя Владимира Палея «Стихотворения» был издан в 1916 г. знаменитым Товариществом «Р. Р. Голике и А. И. Вильборг» и, как обычно для изданий Товарищества, был снабжен утвержденными автором декоративными элементами: заглавными заставками и концевыми виньетками, тематически связанными с как с жанрово-тематической спецификой стихов сборника вообще, так и с предметами отдельных стихотворений. Оформление книги при этом было сдержанным, что и позволило таким элементам служить больше декоративной, чем иллюстративной цели. Мы утверждаем, что на самом деле данные элементы являются частью

целостной иконографической программы, свидетельствующей о высоте развития книгоиздательской культуры, которая только и позволила передать идеи этой поэтической книги.

В книге названия стихотворений трижды взяты в картуш, и также только три раза заставки к стихотворениям представляют собой виды или жанровые сцены в прямоугольной раме. В случаях и картушей, и прямоугольных картин это повышенные семиотические образования, указывающие не только на центральные смыслы отдельных стихотворений, но и на производство новых смыслов и новых способов восприятия смысла. Рассмотрение этих решений показывает, что учет таких художественных элементов блокирует прочтение стихотворений как неоромантических, даже если неоромантизм понимать в самом высоком смысле исповедальности, но встраивает их в более сложную программу христианского пути, что сближает книгу князя Владимира Палея с поиском целостных образов христианского предназначения в русской культуре того времени, таких как град Китеж или невидимый град, где неоромантические элементы должны были стать только эмоциональными режимами для восприятия христианского понимания истории.

Название открывающего книгу стихотворения «Посвящение» дано в секирообразном картуше, обращенном книзу, с гротескными львиными головами сверху (ил. 2), а завершается того же стиля виньеткой-рокайлью из резных узоров. Главной темой этой поэтической увертюры является уравнивание посвящения природе и перевода на ее язык восторга перед природой и умения говорить на ее языках. Лирический персонаж поет «как странник молодой / Как ручеек, как в небе птица» [Палей 1916, 3], и это неоромантическое отождествление лирического субъекта со странником позволило выстроить в стихотворении цепочку причудливых перечислений природных объектов, каждый из которых наделен своим языком, но все эти языки как бы уже переведены на общий язык представленного читателю лирического высказывания. В строках лирический субъект изливает «божественные ласки» самой природы, причем ласки, обращенные к природе, и тем самым перевод на язык природы оказывается единственным способом познать природу в интимной привязанности обращения к ней. Такое постоянное растворение высказывания о природе в жизни самой природы оказывается лучше всего переданным характером картуша, где идея равновесия, как бы уже осуществленной природной справедливости, поддерживается символизацией природы как венчающей это как бы уже семантизированное равновесие.



Ил. 2. Фрагмент оформления [Палей 1916, 3]

Такая необходимая семантизация впечатлений после того, как семантические эффекты слов уже сработали, проявляется и в двух других картушах с названиями. В прямоугольный картуш взято заглавие стихотворения «Теннис» [Палей 1916, 67] (ил. 3), причем сам картуш, с волютами и имитацией рамки вроде зеркала, имеет по бокам узоры в виде густых листьев. Обособление заголовка, как бы переводящее его на язык таблички или знака, может объясняться высокой степенью иноязычия стихотворения: и само название игры звучало еще довольно экзотически, и в произведении присутствуют многочисленные спортивные англицизмы, написанные латиницей: court, service, play, ready, handicap, match. Суровое аналитическое описание динамической и потому как бы по-импрессионистически картинной игры напомнит современному читателю поэтику стихотворений Набокова. Но и само финальное сравнение тенниса с жизнью выдержано в духе английской романтической и неоромантической поэзии, где происходящее в частном поле зрения дается как метафизическая картина жизни и судьбы всей природы, так что масштабное сопоставление двух семантических полей и соответствует почти экранной белизне широкого картуша:

«О, жизнь! От горестей дневныхъ къ воспоминаньям,
Отъ радости души къ отраве прежнихъ мукъ
Кидаешь в руки ты все нас из старых рук
И мы, томимые двуличностью мгновений,
Познали твой ударъ и сетку преткновений!..» [Палей 1916, 67].

Таким образом, картуш иконически выражает судьбу как общий принцип и событий социальной жизни, и тех эмоций, которые и образуют горизонт восприятия человеком всего, в том числе и природы. Поэтому то, что природа вынесена за пределы картуша, как бы подавлена им, как раз выражает это всевластие судьбы

как лирическую тему, не совпадающую с общей программой бесспорно религиозного и чуткого лирика, совсем не фаталиста.



Ил. 3. Фрагмент оформления [Палей 1916, 67]

Наконец, третий декоративный картуш с названием стихотворения «20 июля 1914» (ил. 4) представляет собой типичное изображение трофеев, как мы встречаем его во всех парадных залах или на памятниках эпохи, когда единому объему подчиняется множество изображений лат и других трофеев. Но особенностью этого варианта является наличие, кроме стандартных лат, щитов и луков, еще и знамен в правом верхнем углу сложного картуша, при этом знамена образуют самостоятельную перспективу, как будто это часть перспективистской живописи. Это отвечает содержанию стихотворения, где предвоенная мобилизация оказывается встроенной не просто в картины прежней доблести, а в картины уже совершившегося действия, уже побед, но побед, оставшихся в прошлом:

«И восставая перед нами,
Сияли светлыми лучами
Картины невозвратных дней,
Что кистью мощною своей
Былые мастера писали –
Картины славы и побед» [Палей 1916, 83].



Ил. 4. Фрагмент оформления [Палей 1916, 83]

Выстраивается сложная перспектива, одновременно одическая, требующая постоянного возрождения былой доблести, и элегическая, в которой все уходит безвозвратно, и это становится темой всего стихотворения. Сами изображенные трофеи оказываются частью большого тревожащего воспоминания, колышущего знамена, но так, что знамена и позволяют всем трофеям выглядеть как необходимое задание, необходимый залог успеха новой войны. Завершается это стихотворение виньеткой со скрещенными мечом и трубой, увитыми лаврами, что только усиливает основную идею – неслышимый звук изображенной трубы как воспоминание превращает меч как общую метафору войн прошлого и настоящего в действующее оружие, а не просто в памятный эпизод, каким была бы звучащая труба. При этом лавровые ветви даны без ягод, как символы исключительно победного венка, а не доблести в более общем смысле, в отличие от финальной заставки всей книги, о которой мы еще скажем.

Три заставки-картины в причудливых рамах тоже оказываются тесно связанными с содержанием стихов, раскрывая их неожиданные стороны. Так, сцена актеров за кулисами, изображающих Эстреллу, Пьеро и Арлекина, с публикой на заднем плане (ил. 5), предваряющая цикл о «Карнавале» Шумана, говорит об условности театра, где конфликт на сцене не только не мешает дружбе в реальности, но и подчеркивает еще большую условность обычаев публики, что отвечало и позднейшей рецепции этого произведения в русской поэзии [Марков 2020а, 172–177]. Общий смысл всех четырех стихов – конфликт навязчивого шума, напоминающего о смертности, шума театрального ожидания, и маски, которая и должна закрепить роль как некоторое вечное амплуа, и невозможность избыть этот конфликт:

«Перед самим собой готов он лицемерить –
Но погребальный марш звучит уже въ ушах...» [Палей 1916, 10].

Тем самым разговор актеров за кулисами, в свободных позах и с прическами вполне современной автору эпохи, оказывается таким шумом, который может передавать характеры людей, но при этом общая атмосфера театра, общей смертности и рока, которая ждет весь мир, только и заставляет пережить этот шум как характерный. При этом общий лирический взгляд оказывается вневременным по отношению ко всей системе такой реализации эмоций, и сама циклизация, раскладывание «Карнавала» на эпизоды, каждый из которых разрешается во внеаттракционной жизни, поддержи-

вается этим изображением как бы антракта или перерыва, как бы промежутка внутри цикла, после которого может вновь начаться осознание жизненного предназначения. Этому способствует и дизайн рамы, напоминающий больше всего имитации неоклассицизма и ампира эпохи модерна: использование отдельных ваз и статуэток как декоративных элементов более сложной композиции для создания как бы масштабного неоампирного взгляда, употребление предельно условных и упорядоченных симметричных растительных мотивов, при этом без той единой идеи воспроизведения античного (помпейского) стиля, которой был движим исторический ампир, – всё это заставляет вписывать отдельное театральное развлечение в размышления о больших судьбах



Ил. 5. Фрагмент оформления [Палей 1916, 10]

Вторая рама картины заставки, предваряющая сонет о Марии-Антуанетте, представляет собой образцовое произведение рококо (ил. 6). Маскарон в центре верхней части рамы захвачен в стандартные рокайльные растительные узоры, его поддерживающие, а в нижней части рамы в центре большой картуш с изображением цветов, взятый в громоздкое окружение тех рокайльных узоров, где легко различимы садовые растения и инструменты. Но и тема сонета, по сути, – переход от классицистского к романтическому садоводству, в связи с трагической судьбой Марии-Антуанетты, и изображение, как мы увидим, поясняет этот переход и место его в художественном целом поэтического сборника. Сонет изображает остановившуюся в игре на клавесине руку королевы, так что звук ее и короля пения и отзвук струн еще слышны в окрестностях: «И разливался

плач наивно-золотой». Первая часть сонета выдерживается в духе романтического понимания музыки как тайной души природы, которую можно воспринять только с помощью особого чувства, только и позволяющего понять природу как целое, хотя весь антураж событий выдержан вполне в духе событий жизни Версаля времен старого режима. Но дальше сам этот романтизм оказывается лишь историческим эпизодом, причем не частью истории культуры, а некоторым модусом, направлением прощания со старым миром:

«Да, греза этих струн жила во время оно
И, нарушая тишь Большого Трианона,
Дрожала – словно стон предсмертный старины...» [Палей 1916, 23].



Ил. 6. Фрагмент оформления [Палей 1916, 23]

При этом музыка в последнем терцете, «ритмичные печали» Люлли, и оказывается настоящим увяданием природы, иначе говоря, исторические судьбы не являются последней реальностью, потому что они никогда не бывают так сильны, как предчувствия, или, если иметь в виду нормативную для автора христианскую позицию, как предание себя воле Божией. Эти ноты, «как лепестки цветка, как музы тишины», растворяющиеся в парке, явно летят уже не в классицистский парк, где музыке всегда отведено определенное место, а в романтический парк, где музыка не имеет места, и поэтому человек не может отождествить отдельные проявления судьбы с судьбой вообще.

Иллюстративная заставка выступает здесь как ключ ко всему стихотворению, или же, если можно так сказать, подчеркивает его

скрытую идею. Хотя в стихотворении упомянут Большой Трианон как одна из версальских резиденций короля, указывая на то, что казнен будет прежде всего король, а потом уже королева, на иллюстрации изображен Малый Трианон, личная резиденция Марии-Антуанетты, в своем архитектурном стиле и интерьерах отражавшая австрийские привычки обитательницы, – своего рода прообраз дворца Ольги Палей (напомню, что Палеи до пожалования княжеского титула были австрийскими графами фон Гогенфельдами). При этом на иллюстрации тот фасад, который мы видим со стороны регулярного классицистского парка Трианона, а слева, как действительно в Версале, находится английский парк, который разбила Мария-Антуанетта для себя, устроив там даже альпийскую ферму, напоминающую о родине. Получается, что мы как бы движемся от державной жизни к частной, чтобы мыслить исторические судьбы королей не как действие отвлеченных исторических закономерностей, но как что-то нравственно интимное. Тогда маскароны и путти-садоводы осеняют этот путь – от державности к интимному переживанию, которое и оказывается единственным подлинным способом понять исторические события.

Наконец, третья заставка-картина – изображение Павловского парка со стороны реки Славянки (ил. 7) – довольно избитое изображение, часто воспроизводившееся на открытках того времени, позволявшее усилить именно пасторальный, незатейливый элемент в передаче Павловска, далекий от тяжеловесных классицистских аллегорий, таких как Храм Дружбы или статуя Мира. Рама этой картины еще тяжеловеснее, растительные узоры оказываются ближе к предшествующему русскому барокко, фламандской резьбе, требующей зияний в гирлянде для большей иллюзорности узора. В узор рамы оказываются вплетены статуи и вазы, указывая на все-сезонность парка. Но это лучше всего объясняет основную идею стихотворения «Павловский парк», в котором эмпатия лирического героя, отождествляющего свои настроения с осенью и зимой, опровергается самим ходом жизни природы, самой пасторальной или сельскохозяйственной топикой, которая и оказывается метафизической топикой спасения:

«Пусть у меня под белой пеленой
Уснет зерно, запавшее глубоко,
Чтоб колос налился полней и краше
И ярче-бы весною золотился...» [Палей 1916, 80].



Ил. 7. Фрагмент оформления [Палей 1916, 80]

Без иллюстрации эти размышления в пространном стихотворении казались бы избыточными, тогда как иллюстрация объясняет, что идиллическая и при этом бытовая топка парка не подразумевает восприятия его только как ряда картин, которые должны вызывать раз и на всегда определенные и как бы программируемые чувства. Наоборот, происходит размыкание внутри некоторого идеального и почти открыточного пейзажа сезонных режимов – ведь, как известно, идеальный пейзаж, включающий в себя реку или водоем с отражением, пологие холмы, указания на комфорт и умеренность, и создает такое предварительное ощущение вечности. Поэтому здесь и некоторая почти китчевость оказывается более чем уместна как часть общей программы переживания настоящего времени как трагического, но в котором предчувствие вечности оказывается сильнее любых эмоциональных и словесных намеков на временные переживания.

Такая программа отказа от готовой романтической эмпатии в пользу особого предчувствия вечности поддерживается и символическими виньетками, где готовый традиционный символизм поддерживает именно эту программу, независимо от собственного значения и символов, и поддерживаемых ими текстов стихотворений, где проблематизируется традиционная семантика эмблемы, как ее понимает современная семиотика [Зеленин 2016, 62–65]. Так, над «Колыбельной песней» видна заставка целующихся Амура и Психеи (она легко узнается по бабочкиным крыльям) в виде путти, сидящих на краю балки вполоборота к зрителю, причем Амур удерживает кифару (ил. 8). Содержание колыбельной песни, ничем не выделяющейся на фоне аналогичных стихотворений для детей, никак

не соотносится с этой иконологией Амура и Психеи, но зато очень хорошо соотносится со стихотворением на следующей странице, изображающем экстатическое переживание летней природы:

«Солнечные блики
Испещряют садъ,
Розовой гвоздики
Вьется аромат.
Шумные стрекозы
Пляшут над травой...»
[Палей 1916, 64].



Ил. 8. Фрагмент оформления [Палей 1916, 64]

В этом пейзаже, кроме обычной топики эпикурейского переживания природы от Батюшкова до Плещеева, легко прочитывается намек на первую фразу из перевода Юлием Айхенвальдом, знаменитым литературным критиком и переводчиком Шопенгауэра, сказки об Амуре и Психее из романа Апулея: «Из классической старины дошло до нас проникнутое высокой поэзией произведение, в котором сила народного творчества сочеталась с оригинальным замыслом ученого философа. Въ раму фривольнаго романа вставлена прелестная картинка, от которой веет чистым ароматом любви; над миромъ жгучихъ наслаждений чувственности возвышается образ пленительной девушки с опущенными глазами, с непорочными мыслями» [Айхенвальд 1893, 3]. Как и Айхенвальд, близкий ему по душевному складу Палей видит в этой истории возможность чистого переживания там, где все символы по отдельности фривольны и страстны, и скромное созерцание скромной природы и оказывается возможностью перейти к этому чистому переживанию как предчувствию.

Так же работает виньетка с пупто на кладбище в сложном картуше с рокайлью-раковиной внизу (ил. 9), которое с трудом может быть отнесено к моралистически-гномическому стихотворению на этой странице «Стремись душой к тому, кто верит и прощает», которое требует учиться мудрости у живых, а не у мертвых, но отвечает парадоксам стихотворения на следующей странице, где эпиграмматические и гномические парадоксы приводят к принятию вечности как некоторой фактичности, недостижимой исходя из текущего опыта, но образующей императив любой мысли о природе:

«Отчего порой бывает грустной
 радость,
 Отчего бывает радостной печаль? <...>
 Отчего в любви есть ненависти доля?
 Отчего подчас страдания намъ
 легки?
 Отчего, о, отчего въ просторе поля
 Не синеют вечно васильки?..»
 [Палей 1916, 50].



Ил. 9. Фрагмент оформления
 [Палей 1916, 50]

Отдельное место занимают в книге виньетки натуралистические, а не символические, такие как виньетка к стихотворению «Севрский букет» [Палей 1916, 20] (ил. 10), написанному метрикой и строфикой «Посвящения к неизданной комедии» Вл. С. Соловьева. Изображен именно этот артефакт, фарфоровый букет, имитирующий природные цветы, который был представлен разными экземплярами и в коллекции князей Палеев. Тема стихотворения, парадоксальная близость искусственной вечности и природной вечности, оказывается обыгранной тем, что букет показан немного сверху, под углом в 30°, и хотя в самом стихотворении нет до конца разрешения конфликта, некоторый взгляд на букет не просто как на артефакт, а как на предмет усиленного созерцания с позиций признания какой-то вечности, программируется уже этой натуралистической виньеткой.



Ил. 10. Фрагмент оформления [Палей 1916, 20]

То же самое можно сказать и о виньетке-картуше над короткой эпиграммой (ил. 11):

«Любовь и смерть! Всю жизнь
мы ждем их непрестанно,
И все-ж оне в сердца стучатся
къ намъ нежданно!»
[Палей 1916, 70].



Ил. 11. Фрагмент оформления
[Палей 1916, 70]

Картуш, напоминающий по форме сердце, наверху состоит из пальмовых листьев, отражая идею побед и завоеваний, покорения сердец любовью, а внизу – из как бы кладбищенской гирлянды цветов. Тем самым содержание стихотворения – что любое метафизическое понятие должно быть пережито интимно, и только тогда оно станет настоящим жизненно важным переживанием, отменяющим старые шаблонные представления о судьбе, – оказывается иконически поддержано. Но иконичность здесь оказывается игровой, потому что сердце как таковое не изображено, и это углубляет смысл стихотворения – что такое переживание не может основываться на бытовых представлениях о неожиданном, но включать в себя предчувствия.

Наконец, завершающая всю книгу виньетка – сплетенные два рога изобилия и две лавровых ветки с ягодами (ил. 12), передает мысль всего сборника о том, что причастность осени, непогоде, бедствиям и смертности природы не может быть разложена на отдельные чувства, но всякий раз может быть пережита именно как общее чувство будущей плодovitости, которая затронет не только быт, но и любые символы, включая символы славы. По сути, программа, реализуемая в отдельных стихотворениях, находит здесь итог и семиотическое исполнение и тем самым превращает сборник в единое произведение искусства, не позволяющее воспринять отдельные стихотворения просто как частные лирические высказывания неоромантического свойства. Идеологический, философский горизонт и сборника, и отдельных стихотворений оказывается другим, чем если бы мы интерпретировали отдельные эмоции и лирические позиции в стихотворениях сборника, глядя на него как на собрание разрозненных жанровых стихотворений.



Ил. 12. Фрагмент оформления [Палей 1916, 104]

Таким образом, данное исследование показало, что князь Владимир Палей стремился к созданию книги как своеобразного тотального произведения искусства. Бóльшая жанровая определенность виньеток и других украшений в сравнении с размытостью и многослойной топикой лирических жанров позволила пересобрать этот сборник как единый замысел, в котором отдельные традиционные для лирики мотивы оказываются подчинены более общей программе, которую можно интерпретировать как историософскую или даже теологическую. Это вполне отвечало и умонастроениям автора, и реальным религиозно-философским поискам членов дома Романовых того времени, которых уже скоро ждал трагический финал. Книга «Стихотворения» князя Владимира Палея, будучи памятником книжного искусства, оказывается и одним из самых ярких выражений тех предреволюционных идеологий, которые были напрямую связаны с образами будущего и пониманием природы, искусства и техники не как последних реальностей, а как моментов или топосов, за которыми должен открыться другой мир, не сводящийся к отдельным его символизациям.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Аверинцев 1995 – *Аверинцев С. С.* Специфика лирической героини в поэзии Анны Ахматовой: солидарность и двойничество // *Wiener Slavistisches Jahrbuch*. 1995. Т. 41. С. 7–20.
- Аверинцев 2011 – *Аверинцев С. С.* По поводу статьи А. Зубова «Пути России» // *Континент*. 2011. Т. 148. С. 122–126.
- Айхенвальд 1893 – *Апулей Люций*. Амур и Психея : сказка Апулея / пер. с ла. Ю. А-дт. СПб. : журн. «Пантеон лит.», 1893. 48 с.
- Голлербах 1922 – *Голлербах Э.* Дворцы-музеи. Собрание Палей в Детском Селе. М. : Среди коллекционеров, 1922. 32 с.
- Зеленин 2016 – *Зеленин Д. А.* Взаимоотношения слова и образа в эмблематике: проблемные случаи // *Эмблематика и эмблематич-*

- ность в западноевропейской и русской культуре. М. : Intrada, 2016. С. 59–75.
- Марков 2020а – *Марков А. В. «Карнавал» Шумана в поэзии Дмитрия Кленовского* // *Studia Litterarum*. 2020. Т. 5, № 2. С. 270–285.
- Марков 2020б – *Марков А. В. Чувство родины: иконологическая программа иллюстраций к «Городу Муз» Э. Голлербаха* // *Наследие веков*. 2020. № 4. С. 28–36.
- Найман 1999 – *Найман А. Г. Рассказы об Анне Ахматовой*. М. : Вагриус, 1999. 429 с.
- Палей 1916 – *Палей В., кн. Стихотворения*. Петроград : Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1916. 104 + iv с.
- Экштут 2017 – *Экштут С. А. Возрожденная революцией. Жизнь и необыкновенные приключения героини картины Ю. П. Анненкова* // *Новое прошлое / The New Past*. 2017. № 2. С. 26–46.
- Belting 2005 – *Belting H. Image, medium, body: a new approach to iconology* // *Critical inquiry*. 2005. Vol. 31 (2). P. 302–319.
- Farné 2019 – *Farné R. Didactic iconology* // *IMG journal*. 2019. Vol. 1 (1). С. 122–127.
- Müller 2011 – *Müller M. G. Iconography and iconology as a visual method and approach* // *The SAGE handbook of visual research methods*. 2011. Vol. 1. P. 283–297.
- Olson 2004 – *Olson L. C. Benjamin Franklin's vision of American community: a study in rhetorical iconology*. Columbia : University of South Carolina Press, 2004. 298 p.
- Sherer 2020 – *Sherer D. Panofsky on Architecture: Iconology and the Interpretation of Built Form, 1915–1956, Part I* // *History of Humanities*. 2020. Vol. 5 (1). P. 189–224.
- Stein 2021 – *Stein C. Medieval Naturalia: Identification, Iconography, and Iconology of Natural Objects in the Late Middle Ages* // *Medievalista*. 2021. Vol. 29. P. 211–241.

Материал поступил в редакцию 13.01.2021

Материал поступил в редакцию после рецензирования 27.05.2021

**СИМВОЛЫ ЗАЩИТЫ ДОСТОИНСТВА
И ЛИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА:
ФИЛОСОФИЯ И ТЕОЛОГИЯ В РОССИИ
ПЕРЕД ВЫЗОВОМ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ В МЕДИЦИНЕ**

Д. В. Михель

Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ, Москва, Россия
Институт всеобщей истории РАН, Москва, Россия
Институт научной информации по общественным наукам РАН,
Москва, Россия
dmitrymikhel@mail.ru

О. Н. Резник

Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
имени академика И. П. Павлова, Россия
onreznik@gmail.com

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ
в рамках научного проекта № 21-011-44043

Обсуждается вопрос о развитии в России биоэтики, которая рассматривается как форма экспертного знания, предназначенного защищать личность и достоинство человека в сфере здравоохранения и биомедицинских исследований. Показано, что возникновение биоэтики было связано с процессом трансформации советской системы здравоохранения, на смену которой пришла система, основанная на принципах рыночных отношений. Отмечается типологическое сходство этой ситуации с тем, что происходило в США на волне неолиберальных реформ в экономике, вызвавших бурное развитие биомедицинского знания и технологий. Как и в США, в России развитие биоэтики также было обусловлено биотехнологической революцией в медицине, но ее продвижение здесь было прервано распадом советского государства. Появление частно-государственной системы здравоохранения и быстрое распространение биомедицинских технологий потребовали интеллектуального и морально-этического ответа, который был дан различными группами экспертов, анализирующих связанные с этим проблемы. Наиболее полно артикулировать его смогли философы, связанные с системой академических институтов, и теологи, участвующие в выработке официальной позиции Русской Православной Церкви. В статье предлагается общая картина развития биоэтики в России с учетом конкретного вклада этих двух групп. Основное внимание уделено двум моментам истории развития биоэтики – этапу ее возникновения, связанному с трансформацией системы здравоохранения, и современному состоянию,

для которого характерно быстрое распространение биомедицинских технологий. Делается вывод, что философы видят свою задачу в том, чтобы бить тревогу по поводу «темпов» распространения биотехнологий и скорости изменений человеческой природы, которые, как они считают, возможны. Теологи же видят свою миссию в том, чтобы заявлять об опасных «соблазнах» прогресса, предлагающих человеку занять место Бога и самому стать творцом собственной природы, заменив себя на нечто совсем другое.

Ключевые слова: биотехнологическая революция в медицине, биомедицина, биоэтика, история, Россия, философия, православная теология.

SYMBOLS OF HUMAN DIGNITY AND IDENTITY PROTECTION: RUSSIAN PHILOSOPHY AND THEOLOGY FACING THE CHALLENGE OF THE BIOTECHNOLOGY REVOLUTION IN MEDICINE

Dmitry V. Mikhel

Russian Presidential Academy of National Economy
and Public Administration, Moscow, Russia
Institute of World History, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
Institute of Scientific Information for Social Sciences,
Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
dmitrymikhel@mail.ru

Oleg N. Reznik

Pavlov University, Saint Petersburg, Russia
onreznik@gmail.com

The article discusses the development of bioethics in Russia. Bioethics is viewed as a form of expert knowledge designed to protect human dignity and identity in the field of health care and biomedicine. The authors show that the emergence of bioethics was connected with the transformation of the Soviet healthcare system, which was replaced by a system based on the principles of market relations. The authors note that the situation in Russia is typologically similar to the situation in the United States, which emerged on the wave of neo-liberal economic reforms that led to the rapid development of biomedicine science and biotechnology. Like in the U.S., in Russia, the development of bioethics also took place in response to the biotechnology revolution in medicine, but its advance was interrupted by the dramatic collapse of the Soviet state. The emergence of the public-private healthcare system and the rapid expansion of biomedical technologies required an intellectual and moral response from a diverse group of experts analyzing problems associated with it. The two most

active groups of the expert community could articulate this answer – philosophers associated with the system of academic institutions and theologians participating in the development of the official position of the Russian Orthodox Church. The article offers a general picture of the development of bioethics in Russia, taking into consideration the specific contributions of these two groups. The focus is on two historical stages in the development of bioethics: its emergence, associated with the transformation of the healthcare system, and the contemporary state, characterized by the rapid spread of biomedical technologies. The authors conclude that philosophers see their mission as to sound the alarm about the “pace” of the spread of biotechnology and the speed of change in human nature that they believe is possible. Theologians, on the other hand, see their mission as to signal the dangerous “temptations” of progress that invite humans to take the place of God and become creators of their own nature by replacing themselves with something completely different.

Keywords: biotechnology revolution in medicine, biomedicine, bioethics, history, Russia, philosophy, Orthodox theology.

DOI 10.23951/2312-7899-2022-2-88-111

Реализации методологических потенциалов семиотики в исследованиях биоэтики был посвящен отдельный выпуск 3 журнала ПРАΞΗΜΑ за 2021 год. Актуальность его содержания подтверждает предложенный уже после публикации этого номера концепт «цифровая биоэтика» [Schneider et al. 2021], в котором характеристика «цифровая», в сущности, является характеристикой семиотической и фиксирует качество социального запроса, существующего в настоящем. Обращение же к будущему акцентирует образовательные возможности позиций биоэтики [Брызгалина и др. 2022], созвучные тезису «биоэтика есть семиотическая форма защиты жизненных целей индивидуальности» [Горбулёва и др. 2020, 124]. Отмеченные семиотические характеристика и форма биоэтики в социальной реальности распространены в качестве символизаций защиты достоинства и личности человека. Для релевантного понимания этих символизаций главные роли играют умения проводить границы в смешении различных трактовок в семантике и прагматике становящегося символа. С целью обозначить эти границы в данной статье планируется осветить вопрос о развитии биоэтики в России, который не раз уже рассматривался другими исследователями, но чаще всего как история конкретных личностей, внесших весомый вклад в становление биоэтической мысли и биоэтических

институций (комитетов, советов и т. д.). В России, как и повсюду в мире, где существует биоэтика, она появилась в ответ на социальный запрос, связанный с попытками определить опасности, связанные с развитием биологии, биотехнологий и биомедицины.

Обычно появление биоэтики в нашей стране трактуется как следствие частных инициатив, проявившихся в академической научной среде на рубеже 1980–1990-х годов, что, безусловно, имело место. Однако, как представляется, еще более важным было то обстоятельство, что возникновение биоэтики было связано с процессом трансформации советской системы здравоохранения, на смену которой пришло здравоохранение нового типа, основанное на принципах рыночных отношений, связавших между собой пациентов, медицинские учреждения, фармацевтические компании, ученых, разрабатывающих новые лекарства и новые технологии.

В похожих условиях биоэтика впервые возникла и в США, где в самом начале 1980-х годов вследствие неолиберальных реформ в экономике началось бурное развитие биомедицинского знания и технологий [Cooper 2008]. В США процесс реформирования здравоохранения привел к росту социальной обеспокоенности по поводу коммерциализации медицины и появления быстро растущего рынка медицинских услуг. Одним из социально значимых механизмов стала биоэтика – особая форма экспертного знания, задача которой – защитить личность и достоинство человека, пребывающего на этом рынке услуг в качестве пациента медицинских учреждений или участника биомедицинских исследований. Трансформация здравоохранения в США совпала с процессом бурного распространения биотехнологий, основная часть которых нашла применение в медицине. Этот процесс, получивший название «биотехнологическая революция» [Фукуяма 2004], стал еще одним драйвером тех перемен, что вызвали появление биоэтики.

В России распространение биоэтической мысли также было обусловлено биотехнологической революцией, но ее продвижение здесь было прервано распадом советского государства, который и стал самым значительным фактором в истории возникновения биоэтики. Именно распад СССР привел к тому, что все последовавшие за этим процессы происходили с огромной скоростью и без должной готовности к ним общества. Появление новой, частно-государственной системы здравоохранения, а затем и быстрое распространение новых технологий потребовали интеллектуального и морально-этического ответа, который был дан различными группами экспертов, анализирующих связанные с этим проблемы.

Артикулировать этот ответ смогли две наиболее активные группы экспертного сообщества – философы, связанные с системой академических институтов, и теологи, участвующие в выработке официальной позиции Русской Православной Церкви (РПЦ). В предлагаемой ниже статье планируется представить общую картину развития биоэтики в России с учетом интеллектуального вклада названных экспертных групп. При этом основное внимание будет сосредоточено на двух моментах развития биоэтики – этапе ее возникновения, связанном с трансформацией системы здравоохранения, и современном состоянии, для которого характерно быстрое распространение биомедицинских технологий.

Возникновение биоэтики в России: философская рецепция зарубежного опыта и перестройка здравоохранения

Первый шаг к появлению биоэтики был сделан представителями философского сообщества, работающими в системе Академии наук. Многие эпизоды ее истории раскрыты во всех подробностях, в том числе участниками этих событий. Поэтому есть смысл обратить внимание на более широкий исторический контекст.

С момента основания советского государства наука и технологии рассматривались властями как средство достижения высокого материального благополучия населения и демонстрации возможностей советского образа жизни. Научные исследования в области биологии и медицины осуществлялись под строгим идеологическим контролем со стороны коммунистической партии, который несколько ослаб лишь после 1965 года, когда высшее руководство страны признало ошибки так называемой «лысенковщины». При этом ни партия, ни сами ученые не были готовы к признанию того, что некоторые достижения научно-технического прогресса могут иметь опасные последствия для человеческого благополучия и даже сказаться на самой человеческой природе. Поэтому весьма неожиданно для тех и других прозвучало пришедшее в 1974 году из США сообщение о том, что группа генетиков во главе с П. Бергом предложила ввести мораторий на исследования по рекомбинантной ДНК применительно к человеку.

Едва ли не единственным, кто с особым вниманием отнесся к этому известию в СССР, оказался И. Т. Фролов, за несколько лет до этого всерьез занявшийся философским осмыслением вопроса об

этической ответственности ученых за последствия проводимых исследований. Состоявшаяся в 1975 году знаменитая конференция в г. Асиломаре, штат Калифорния, где на первый план вышли этические проблемы развития генной инженерии, еще более укрепила И. Т. Фролова в мысли о том, чтобы привлечь внимание своих коллег по Академии наук к этой проблематике. В те же годы он организовал несколько круглых столов, предложив к обсуждению вопрос о влиянии новых открытий в биологии на перспективы человеческого развития [Белкина, Корсаков 2008].

Продумывая вопрос о научной этике, И. Т. Фролов исходил из того, что прогресс науки невозможно остановить, однако это не значит, что следует его торопить и тем более некритично пользоваться всеми его достижениями. К середине 1980-х годов он привлек к своим философским разработкам Б. Г. Юдина, работавшего в системе академических институтов. Совместно они подготовили книгу по этике науки, знаменовавшую собой новый этап в развитии отечественной философии и ее дрейф в сторону позитивного усвоения зарубежного опыта [Фролов, Юдин 1986]. Эта книга вышла в свет уже в разгар политики перестройки, инициированной высшим руководством КПСС во главе с М. С. Горбачевым. В течение последующих нескольких лет философская судьба И. Т. Фролова и Б. Г. Юдина оказалась тесно связанной с происходящими в стране политическими событиями¹.

В самый разгар Перестройки советские философы впервые познакомились с биоэтикой [Юдин 2006б, 96]. После поездки в США в 1990 году и знакомства с опытом работы американских биоэтических центров Б. Г. Юдин стал главным энтузиастом развития биоэтики в нашей стране. Его интерес к биоэтике был поддержан И. Т. Фроловым, в 1992 году принявшим решение о создании сектора биоэтики в структуре Института человека РАН [Корсаков 2008].

В самом конце 1980-х годов Советский Союз погрузился в глубокий социально-экономический кризис, который вскоре перерос

¹ Так, с середины 1980-х годов И. Т. Фролов был вынужден выполнять обязанности помощника М. С. Горбачева по идеологии, руководить работой журнала «Коммунист» и газеты «Правда», возглавлять Философское общество СССР, готовить к изданию «перестроечный» учебник по философии для вузов. Но когда М. С. Горбачев начал процесс политической демократизации, академик И. Т. Фролов покинул пост его идеологического помощника и сосредоточился в основном на научной работе. В 1989 году вместе с академиком А. А. Баевым он инициировал запуск государственной программы «Геном человека», а также создал Всесоюзный межведомственный центр наук о человеке АН СССР. В 1991 году, когда начатые М. С. Горбачевым политические реформы в стране привели к политическому кризису, И. Т. Фролов полностью сосредоточился на научной работе и преобразовал центр в Институт человека [Белкина, Корсаков, Фролова 2021].

в кризис политический, приведший к распаду советского государства. Все научные исследования, включая исследования по биомедицине, на время приостановились, причем в тот самый момент, когда в США и других западных странах они, наоборот, вошли в наиболее важную фазу своего развития, связанную с реализацией геномных исследований. Составной частью общесистемного кризиса стал кризис системы здравоохранения. Из-за недостатка финансирования врачам не выплачивалась зарплата, в больницах не хватало лекарств и оборудования, а наиболее предприимчивые руководители медицинских учреждений начали вводить практику предоставления платных услуг, чтобы помочь своим сотрудникам выжить.

В этой непростой ситуации академик И. Т. Фролов и небольшая группа его единомышленников, чтобы спасти свои научные разработки, вынуждены были маневрировать и искать приложения своим интересам. Именно в этот момент первоначальный интерес к биоэтике получил новый импульс для своего развития. Отчетливо сознавая потенциальные риски, которое будет нести новая, частно-государственная система здравоохранения для общества, коллеги И. Т. Фролова – Б. Г. Юдин, П. Д. Тищенко, В. Н. Игнатьев и другие – стали рассматривать биоэтику как средство интеллектуального сопровождения процессов, развернувшихся в системе здравоохранения.

Знакомя американских коллег со своим видением будущей российской биоэтики, Б. Г. Юдин в 1992 году писал: «Надвигающийся крах нашей системы здравоохранения делает общественность и средства массовой информации гораздо более чувствительными ко многим медицинским проблемам, в том числе и биоэтическим. Среди наиболее горячо обсуждаемых – такие проблемы, как недостаточное регулирование использования человеческих органов и тканей при трансплантации; несправедливость в распределении весьма ограниченных ресурсов здравоохранения; злоупотребления в психиатрии (и не только по политическим причинам); далеко не удовлетворительные условия в большинстве родильных домов, больниц и домов престарелых; трудности в организации хосписов и т. п.» [Yudin 1992, 5].

В том же году Б. Г. Юдин и П. Д. Тищенко еще раз сформулировали свое видение перспектив биоэтики в нашей стране, связав их с драматическими процессами, развернувшимися в медицине: «Процесс изменений в российской системе здравоохранения начался и в сочетании с такими новыми (для нашей страны) явлениями, как благотворительные фонды, независимые организации пациен-

тов (общества диабетиков, клубы астматиков и т. д.) и инвалидов, создает некоторые необходимые предпосылки для существования биоэтики» [Tichtchenko, Yudin 1992, 296].

Стремительность, с которой произошел развал советского здравоохранения, привела к возникновению ситуации, когда значительная часть общества была вынуждена совершенно иначе взглянуть на вопрос получения медицинской помощи. Дело теперь заключалось не только в том, что те или иные виды лечения превратились в платные медицинские услуги, – неформальные платежи существовали и в рамках «бесплатного» советского здравоохранения. Новизна ситуации состояла в том, что в контексте провозглашаемых либерально-демократических перемен от граждан требовалось взять собственное здоровье в свои руки и, кроме того, в той или иной степени начать влиять на саму систему здравоохранения. Именно это имел в виду Б. Г. Юдин, когда несколько лет спустя писал: «Провал бесплатной медицины, как бы болезненно это ни было для населения, даст основание надеяться на лучшее будущее. Уже сейчас суровая реальность заставила людей осознать, что правительство или министерство здравоохранения не несут единоличной ответственности, и ни то ни другое не будет платить за здоровье людей; это должны делать сами люди. Люди также начинают понимать, что медицина и здравоохранение – это области, в которых реализуются (или не реализуются) основные права и жизненно важные интересы людей, и, следовательно, эта сфера требует морально-этического рассмотрения, а также правового регулирования» [Yudin 2004, 1658].

В последний период существования советского здравоохранения в нем все больше нарастали различные негативные тенденции – недофинансирование лечебной медицины и сферы биомедицинских исследований, командно-авторитарный стиль обращения с пациентами, снижение профессионального уровня врачей, падение авторитета врачебной профессии, вымогательство и др. На волне демократических преобразований начала 1990-х годов был запущен процесс его реформирования. Уже в 1992 году был подготовлен законопроект об охране здоровья граждан, который стал предметом слушаний в Комитете по здравоохранению Верховного Совета Российской Федерации [Tichtchenko, Yudin 1992, 302].

Российские философы не остались в стороне от морально-этического анализа принимавшихся правовых норм. Для них было важно рассмотреть ситуацию, которая могла сложиться «по ту сторону» буквы закона – на уровне принятия конкретных медицинских

решений в случаях, требующих занять моральную позицию и сделать этический выбор. Для Б. Г. Юдина такой ситуацией стала ситуация с эвтаназией: в период с 1990 по 1994 год в журналах «Человек» и «Врач» с его участием вышло по крайней мере пять статей по этой проблематике.

Обращение лидера философской биоэтики к вопросу об эвтаназии стало ответом на целый ряд проблем, с которыми столкнулось российское общество на рубеже эпох. Во-первых, это растущая бедность населения и недофинансирование здравоохранения, препятствующие широкому предоставлению паллиативной помощи для терминальных больных, а также возможности широкого использования жизнеподдерживающих технологий – аппаратов ИВЛ, обезболивающих препаратов. Во-вторых, распространение информации о явном или скрытом распространении практик «активной» и «пассивной» эвтаназии за рубежом, в частности в Голландии и США, вызвавшей реакцию со стороны российской общественности². В-третьих, либерализация общественного сознания, ведущая к тому, что многие пациенты и их родственники стали более терпимо относиться к самой возможности добровольного ухода из жизни. Кроме того, обращение к вопросу об эвтаназии было связано с участием Б. Г. Юдина и его коллег в экспертизе закона о трансплантации органов и / или тканей человека, в рамках которого была представлена статья 9, касающаяся определения момента смерти³.

Б. Г. Юдин взглянул на проблематику эвтаназии не только глазами философа. Опираясь на целую серию социологических исследований⁴, он был вынужден констатировать, что сложившаяся в нашей стране система отношений между врачами и пациентами не позволит врачам делиться с пациентами всей медицинской информацией, а пациентам – принимать рациональные решения относительно своего лечения и возможности отказа от него. «Следует... учесть особое обстоятельство, делающее невозможной легализацию эвтаназии в современной России... Практика отечественного здравоохранения... такова, что в нем продолжает превалировать

² Примером публикации об эвтаназии, вызвавшей дискуссии в российском философском сообществе, стала статья профессора Оксфордского университета Ф. Фут, вышедшая в журнале «Философские науки». Особую тревогу вызывали ее финальные строки, где автор допускала мысль о возможности эвтаназии «в крайне бедном обществе» [Фут 1990, 79].

³ Позднее Б. Г. Юдин подчеркивал, что главным предметом его интереса в начале 1990-х годов был вопрос об этических проблемах трансплантологии [Харитонов, Юдин 2011].

⁴ В 1992 и 1994 годах такие исследования провели Институт социологии РАН, Финский институт профессиональной гигиены, Российский национальный комитет по биоэтике, Всероссийский центр изучения общественного мнения [Гудков, Юдин 1995].

концепция “святой лжи”, – от больного, как правило, информация скрывается. А это значит, что фактически российские пациенты обычно не имеют возможности свободного выбора в тех случаях, когда имеет смысл говорить об эвтаназии» [Введение в биоэтику 1998, 293].

Период возникновения биоэтики в России был сравнительно коротким, а значительная часть проблем, связанных с развитием биомедицины, все еще оставалась вне поля философского осмысления. С середины 1990-х годов первые энтузиасты биоэтики в России сосредоточили свои силы на рецепции зарубежного опыта и освещении задач, стоящих перед биоэтикой в России. Своеобразным итогом проведенной в эти годы работы стал учебник «Введение в биоэтику» (1998), подготовленный группой из семи исследователей во главе с Б. Г. Юдиным. В нем получили отражение и первый опыт преподавания курсов по биоэтике в российских вузах, и видение авторами ситуации, сложившейся в здравоохранении и в обществе в целом. Б. Г. Юдин и П. Д. Тищенко, написавшие вводный раздел учебника, не без горечи замечали: «Нередко даже те, кто понимает всю гуманистическую значимость проблем биоэтики, не могут не сомневаться в их актуальности применительно к теперешней ситуации в России. Действительно, общество раздирается кризисами... Состояние здравоохранения, если выражаться мягко, бедственное... Так время ли сейчас беспокоиться о правах пациентов, о последствиях применения новых технологий?.. И представляет ли для России весь тот опыт, который накоплен биоэтикой, какой-либо другой интерес, кроме академического?» [Введение в биоэтику 1998, 16]. Авторы были вынуждены со всей откровенностью заявить, что стоящий на повестке дня вопрос о создании новой медицины не может быть решен без закладывания этических основ, одними лишь организационно-финансовыми мерами. «От медицины, как, впрочем, и от медицинской науки, напрочь лишенных этико-гуманистического стержня, людям не стоит ждать какого бы то ни было блага – их надо остерегаться» [Введение в биоэтику 1998, 17].

Еще один подход к биоэтике: теологическое осмысление проблем здравоохранения и биомедицины

Теологическое осмысление этических проблем современной медицины стало для православной теологии принципиально новым

делом⁵. В Священном Писании и трудах отцов Церкви большое внимание уделялось вопросам духовного и телесного врачевания, духовно-нравственного смысла болезни и страдания, отношениям врача и пациента, врачебной этике и тому подобному, но в них нигде не рассматривались проблемы, вызванные развитием биомедицины по причине отсутствия ее как таковой в период формирования христианского вероучения и в последующий период, связанный с его распространением. Когда православная церковь в России вернулась к активному диалогу с государством и светским обществом, для православного духовенства и теологов из духовных учебных заведений одной из насущных тем стала ситуация с коммерциализацией здравоохранения. В своих публичных высказываниях представители Церкви приветствовали развитие диалога между врачом и пациентом, но порицали его низведение до уровня «чисто договорных отношений»⁶.

Теологическое осмысление проблем развития биомедицины, как и формулирование доктринальной позиции РПЦ по биоэтической проблематике, в 1990-е годы происходило с опорой на идеи православных врачей, а также исследования католических и протестантских теологов по этим вопросам, которые стали появляться в последней четверти XX века. Первым из православных мыслителей, кто стал рассматривать эти проблемы, был митрополит Антоний Сурожский – православный врач, проповедник и архиепископ Сурожской епархии РПЦ в Великобритании⁷. Весьма впечатляющими были его суждения о трансплантации органов, лечении генетических заболеваний, абортах, искусственном оплодотворении. При этом он признавал, что церковь все еще не высказала своей официальной позиции по отношению к биомедицине, и было бы важно, чтобы она прозвучала, например, на уровне специальной комиссии с участием священников и врачей. В беседе, имевшей место в 1994 году, он заметил: «Церковь будет молчать, может быть, еще

⁵ Напомним, что в Советском Союзе церковь была полностью отделена от государства, а также от систем образования и здравоохранения, поэтому ее представители не могли высказываться по тем или иным социальным вопросам. После распада СССР и отказа новой российской власти от официальной идеологии в стране произошло возрождение религиозной жизни, а РПЦ попыталась занять активную социальную позицию и включилась в дискуссию о развитии здравоохранения и биомедицины.

⁶ Данная позиция была официально сформулирована в принятых в 2000 году «Основах социальной концепции Русской Православной Церкви» [Основы социальной концепции РПЦ 2000, 38].

⁷ Статья Антония Сурожского «Человеческие ценности в медицине» впервые была опубликована на английском языке в 1976 году [Metropolitan Anthony of Souruzh 1976]. За ней последовал ряд других публикаций, которые в середине 1990-х годов все были изданы на русском языке.

долго. Но люди, которые являются Церковью, должны думать и ставить перед собой вопросы, и сколько умеют <...> и как бы предварительно решать и подносить Церкви возможное решение тех или иных вопросов, на которые Церковь не давала или не дает определенных ответов» [Митрополит Сурожский Антоний 2012, 58].

Словно бы исполняя призыв владыки Антония, в 1998 году РПЦ прервала затянувшееся молчание по вопросам развития биомедицины и включилась в дискуссию, начатую светскими философами. Это произошло после создания Церковно-общественного совета по биомедицинской этике при Московском патриархате под покровительством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Работу Совета возглавили три сопредседателя – епископ Тихвинский Константин (Горянов), протоиерей Димитрий Смирнов и профессор Сеченовского университета врач А. В. Недоступ. С самого начала Совет, выступивший аналогом этических комитетов в структуре РАН и РАМН, стал собираться на регулярные заседания, на которых обсуждались подготавливаемые для таких случаев тексты. На их основе позднее Совет принимал свои заявления. Авторами большинства из таких текстов были православные теологи, ведущие обширную образовательную и научную деятельность, но некоторые были подготовлены врачами и философами⁸, также вошедшими в состав Совета.

За первые три года работы Совет принял заявления по трем вопросам, касающимся эвтаназии, этических проблем новых репродуктивных технологий и клонирования человека. Подобно своим коллегам – светским философам, православные теологи подошли к ним весьма основательно, но предпочли апеллировать не к опыту западной биоэтики, а к этическим идеям, восходящим к традиции православия. При этом как одни, так и другие опирались также на личный опыт, связанный с медицинской практикой.

Выбор теологами первых трех биоэтических проблем был неслучаен. Так, обращение к вопросу об эвтаназии было продиктовано бедственным положением российского здравоохранения в 1990-е годы и опасениями из-за того, что терминальных пациентов из числа наиболее бедных слоев общества может поджидать прекращение поддерживающего лечения. Православный врач, профессор игумен Анатолий Берестов оценил проблему эвтаназии, исходя из своего пастырского и врачебного опыта: «Эвтаназия – порождение

⁸ Наиболее активной в работе Совета на протяжении всех лет его существования была доктор философских наук, профессор Второго медицинского института (ныне Пироговский медицинский университет) И. В. Силуянова.

безрелигиозной морали. В христианском мире она как практика умерщвления безнадежного больного быть принята не может» [Игумен Анатолий Берестов 2017, 55]. Он также обратил внимание и на социальный аспект сложившейся ситуации. «Давайте представим на минуту, что будет у нас в России – в стране узаконенного беззакония, если вдруг будет принят закон, разрешающий эвтаназию <...>. В этом случае под видом эвтаназии у нас развернутся “узаконенное” истребление нелюбимых родственников, сведение счетов, борьба за наследство, мафиозные заказные убийства и т. д.» [Игумен Анатолий Берестов 2017, 59]. Несложно заметить сходство и различия между его позицией и позицией светского философа Б. Г. Юдина. Тот аргументировал свое мнение, указывая на нравы, сложившиеся в медицинской среде. Игумен Анатолий ссылаясь на своем выводе на нравы остальной части общества.

Заявление Совета «О современных тенденциях легализации эвтаназии в России» (1998), опирающееся на публикацию игумена Анатолия и других авторов, представленных в Совете, стало первым публичным опытом артикулирования позиции православной биоэтики в России. В тексте принятого заявления было отмечено: «Совет считает эвтаназию неприемлемой в нравственном отношении и категорически возражает против рассмотрения законодательных проектов, пытающихся юридически оформить возможность ее применения и тем самым внедрить в общественное сознание допустимость убийства или самоубийства с помощью медицины» [Заявление об эвтаназии 2017, 67].

Обращение к вопросу об этических проблемах экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) также было неслучайным. Во второй половине 1980-х годов в России были предприняты первые успешные опыты по ЭКО, а уже во второй половине 1990-х годов ЭКО превратилось в рутинную – и при этом дорогостоящую – медицинскую услугу. С открытием первых клиник репродуктивной медицины началась активная реклама их услуг. Продвижение технологии ЭКО получило поддержку и на законодательном уровне. Статья 35 «Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан» гласила: «Каждая совершеннолетняя женщина детородного возраста имеет право на искусственное оплодотворение и имплантацию эмбриона» [Основы 1993, ст. 35].

Православные теологи отреагировали на принятие этой правовой нормы, как и на саму ситуацию с продвижением новых репродуктивных технологий, постфактум. Тем не менее на исходе 1990-х годов многое в дальнейшей судьбе технологии ЭКО в России еще

было неясно. Включившиеся в дискуссию по этому вопросу теологи весьма четко сформулировали свою позицию. Доктор богословия протоиерей Николай Балашов писал: «Новые методики человеческой репродукции настоятельно требуют православного богословского осмысления, а порождаемые ими этические проблемы – внятного и хорошо продуманного церковного ответа» [Протоиерей Николай Балашов 2017, 73]. Признавая этическую безупречность искусственного осеменения замужней женщины спермой ее супруга, в отношении ЭКО он отмечал, что данная биотехнология выступает как посягательство на святость семьи, поскольку для зачатия используются яйцеклетки другой матери, или другая женщина используется как суррогатная мать. Кроме того, особенностью технологии является то, что после оплодотворения *in vitro* только часть эмбрионов – как правило, три – подсаживается в тело женщины, тогда как остальные уничтожаются или используются для исследований. Но уничтожение этих «лишних» эмбрионов «противоречит представлению Церкви о человеческом эмбрионе как носителе человеческого достоинства. С этой точки зрения намеренное уничтожение эмбрионов, как и намеренный аборт, является недопустимым посягательством на человеческую жизнь» [Протоиерей Николай Балашов 2017, 78–79]. Протоиерей Николай Балашов также отметил, что многие православные священники в настоящее время не могут дать квалифицированный совет своим прихожанам, если те обратятся к ним с вопросом о возможности использования ЭКО. Для таких людей «некоторым руководством могут послужить изложенные выше соображения православных пастырей и богословов» [Протоиерей Николай Балашов 2017, 81].

С протоиереем Николаем Балашовым соглашался и протоиерей Максим Обухов, писавший: «Наиболее остро стоит вопрос о ценности жизни эмбриона. От ответа на него зависит и общее отношение к репродуктивным технологиям <...>. Человек, будь то новорожденный ребенок или старик, как эмбрион или зигота, – остается таковым независимо от того, сколько он весит, какой имеет возраст <...> делить эмбрионы на более ценные и менее ценные невозможно. Любая установка, предполагающая возможность умерщвления человека в любом возрасте, начиная с зачатия, ведет к оправданию убийства» [Протоиерей Максим Обухов 2017а, 84, 86–87].

В принятом Советом заявлении об ЭКО были учтены все предложения, высказанные экспертами-теологами. Кроме того, в нем указывалось, что «использование новых технологий порождает соблазн рассматривать формирующуюся жизнь как продукт, который

можно выбирать согласно собственным склонностям... Человеческая жизнь становится предметом купли-продажи <...>. Донорство половых клеток разрывает семейные отношения <...>. Анонимность донорства открывает возможность для непреднамеренного инцеста <...>. Суррогатное материнство <...> противостоит естественному и морально недопустимо <...> все виды (ЭКО. – Д. М., О. Р.) представляются нравственно недопустимыми на основании признания человеческого эмбриона носителем человеческого достоинства <...>. Не будучи противниками развития науки и применения ее достижений для блага людей, мы напоминаем о необходимости трезво и ответственно учитывать этические последствия внедрения новых технологий» [Заявление о новых репродуктивных технологиях 2017, 89–92].

Обсуждая вопрос о клонировании, теологи проявили полную солидарность с коллегами-философами и большинством остальных экспертов. Протоиерей Максим Обухов писал: «Разрушается установленная Богом связь между семьей, браком и рождением детей. Человек восстает против Бога <...>. Клонирование, как и многие другие революции, <...> разделило человечество на тех, кто придерживается нравственно-этического подхода к медицинским проблемам, и на тех, для кого не существует никаких запретов» [Протоиерей Максим Обухов 2017б, 96–98]. Отталкиваясь от мнений православных ученых, Совет в своем заявлении подчеркнул, что развитие технологии клонирования человека в нравственном смысле совершенно недопустимо. О клонировании человека было сказано как об «аморальном, безумном акте, ведущем к разрушению человеческой личности, бросающем вызов Создателю» [Заявление о клонировании 2017, 106]. Формулируя официальную позицию православной церкви по клонированию, Совет признал важность принятия запрещающей правовой нормы для него в российском законодательстве.

Начав свою работу с оценки трех названных выше вопросов, теологи, участвовавшие в работе Совета, в последующие годы высказали позицию и по другим проблемам, связанным с развитием биомедицины. Но еще раньше первые итоги теологического осмысления проблем развития здравоохранения и биомедицины нашли свое отражение в принятых в 2000 г. «Основах социальной концепции Русской православной церкви», где появилась специальная глава о проблемах биоэтики. В ней была высказана дифференцированная позиция по вопросам, касающимся абортов, некоторых видов контрацепции, репродуктивных технологий, генных технологий, клонирования людей и животных, трансплантации органов, эвтазии и др. Общая позиция церкви, основанная на представленных

ей теологами рекомендациях, во многом заключалась в следующих словах: «Формулируя свое отношение к широко обсуждаемым в современном мире проблемам биоэтики, в первую очередь к тем из них, которые связаны с непосредственным воздействием на человека, Церковь исходит из основанных на Божественном Откровении представлений о жизни как бесценном даре Божиим, о неотъемлемой свободе и богоподобном достоинстве человеческой личности» [Основы социальной концепции 2000, 40].

Философия и теология о будущем человека в связи с развитием биотехнологий и биомедицины

В конце 1990-х годов российская система здравоохранения постепенно стала выходить из ситуации тяжелого кризиса. На этом фоне представители всех групп российских экспертов, заинтересованных в развитии биоэтики, переориентировали свое внимание на более фундаментальный вопрос – о будущем человека в связи с развитием биотехнологий и биомедицины. Этой переориентации интересов философов и теологов способствовал и целый ряд внешних факторов: во-первых, полувековой юбилей принятого в 1947 году Нюрнбергского кодекса – первого этического кодекса, регулирующего практику биомедицинских экспериментов; во-вторых, новости о первых успехах в рамках международного проекта «Геном человека» и все более широком использовании в медицинской практике методов генодиагностики и генотерапии; в-третьих, шокирующая информация об успешном эксперименте в Великобритании, в ходе которого ученым удалось клонировать из соматических клеток первое крупное млекопитающее – овечку Долли; наконец, принятие Советом Европы Конвенции о защите прав человека и человеческого достоинства в связи с применением достижений биологии и медицины⁹.

Свидетельством возросшего внимания философов к этому вопросу стала работа группы из сектора биоэтики Института человека РАН над проектом «Этико-правовые проблемы биомедицинских исследований и практического здравоохранения в современной России» [Юдин и др. 1996, 307]. Она придала импульс развитию в России философских исследований о последствиях биотехнологической революции в медицине для человека. При этом некоторые выводы, полученные исследователями, были весьма неожиданными.

⁹ Конвенция Овьедо от 19 ноября 1996 г.

Так, Б. Г. Юдин с коллегами, например, обнаружил, что в России общественность более либерально, чем в Великобритании, относится к различным видам медицинского и немедицинского (евгенического) вмешательства в геном человека [Gudkov, Tichtchenko, Yudin 1998].

Следуя предложенной И. Т. Фроловым идее о важности осмысления последствий научно-технического прогресса для будущего человека, Б. Г. Юдин и его коллеги из академических институтов стали более активно анализировать роль новых технологий в грядущих судьбах человечества. Такая работа все чаще стала проводиться в рамках специальных научных проектов, поддержанных фондами РГНФ и РФФИ, а результатами ее стали новые публикации. Большинство таких публикаций было посвящено тому, чтобы понять, как прогресс в биомедицине и распространение новых технологий смогут повлиять на человеческую природу. В частности, Б. Г. Юдин в своих статьях обращал внимание на растущее распространение «индивидуальных утопий», пришедших на смену «социальным утопиям» [Юдин 2006a], все более широкое увлечение «конструктивистским подходом» по отношению к человеку вообще и так называемому «проектируемому ребенку» в частности, на распространение идей о неизбежном приходе на смену традиционному человеку «трансчеловека» и «постчеловека» [Юдин 2007; Юдин 2008; Юдин 2011; Юдин 2013]. При этом он отмечал, что «вопрос о том, каковы перспективы человека – и в рамках России, и в рамках всей мировой цивилизации, – сегодня весьма далек от своего решения. Будущее человека вселяет не только надежды, но и серьезные опасения» [Юдин 2004, 27]. В целом философы, следующие идеям И. Т. Фролова, соглашались в том, что поспешное внедрение достижений биотехнологической революции в медицине в широкую практику было бы опрометчивым, но «в отдаленном будущем перед человечеством... откроется реальная перспектива изменения в желаемом направлении его биологической природы» [Фролов 2002, 56].

Как уже было показано в предыдущем разделе, православные теологи подошли к разговору о последствиях биотехнологической революции для человека позже коллег-философов. Разработка доктринальных основ церковного отношения к этим проблемам началась лишь после того, как церковь стала полноценным участником общественного диалога по актуальным социальным вопросам. Уже на рубеже веков теологи смогли выработать консолидированную позицию в разговоре о будущем человека в связи с развитием биотехнологий и биомедицины.

Одним из первых эту позицию обозначил священник Владимир Зелинский, по инициативе которого на русском языке была опубликована книга двух итальянских католических теологов о биоэтике. В своем послесловии к ней он подчеркнул, что православный подход к биоэтике состоит в том, чтобы видеть в человеке не «проблему», а «тайну», и в каждом «рождающемся, живущем и умирающем человеке... – воплощенного и распятого Бога». Он определил этот подход как «евхаристическую премудрость», которая могла бы стать «истокom, тонусом, движущим началом мышления наших дней как альтернативы тому познанию с его скрытой похотью к власти, которое пытается теперь овладеть и манипулировать жизнью» [Священник Владимир Зелинский 2002, 408].

В марте 2006 года Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата совместно с немецким Фондом имени Конрада Аденауэра провел конференцию «Развитие биотехнологий: вызовы христианской этике». Она стала важным шагом в опыте теологического осмысления вызова биотехнологической революции для христиан и всего российского общества. Диякон Михаил Першин в интервью по итогам конференции заметил, что «биоэтика в современном мире становится формой христианской миссии»; «...само обсуждение вопроса о приемлемости и допустимости тех или иных процедур и технологий <...> заставляет задуматься над религиозным измерением человеческих поступков» [Писаревский 2013].

В рамках той же конференции Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл признал, что «стремительное развитие биотехнологий объективно бросает вызов фундаментальным основам и базовым принципам христианской веры» [Кирилл, Патриарх 2017, 21]. Но, по его словам, ответ церкви и православия на этот вызов возможен: «Русская Православная Церковь считает необходимым вести диалог со всеми, кто заинтересован в выработке для этой сферы определенного свода этических норм, которые в максимальной мере отражали бы взгляды различных социальных групп, и в том числе – последователей традиционных религий» [Кирилл, Патриарх 2017, 30].

Эта конференция дала новый стимул православным теологам для осмысления феномена биотехнологической революции в медицине. В последующих публикациях развитие биомедицины было показано как вызов христианским ценностям, в особенности христианскому пониманию человеческой жизни как дара Божьего. Закономерным образом основное внимание авторов было обращено к технологиям, предназначенным для вмешательства в репродуктивную

сферу человека, – терапевтическому клонированию, пренатальной диагностике, искусственному оплодотворению, манипуляциям с эмбрионами [Иеромонах Димитрий Першин 2017; Архимандрит Филипп (Филиппов) 2017; Архимандрит Мелхиседек (Артюхин) 2017; Протоиерей Игорь Аксенов 2017; Протоиерей Максим Обухов 2017]. Общим для всех теологических исследований стало подчеркивание того обстоятельства, что биотехнологическое вмешательство в репродуктивную сферу способствует обесцениванию человеческой личности и достоинства, а игры ученых в создание новых человеческих жизней превращаются в богоборчество, оборотной стороной которого является человекоборчество.

К концу второго десятилетия XXI века в рядах экспертов, занятых вопросами о будущем человека в связи с развитием биотехнологий и биомедицины, начался процесс смены поколений. Это стало сказываться и на манере проработки данных вопросов. В исследованиях представителей нового поколения философов появились склонность к нюансам, интерес к рутинным аспектам биотехнологической революции. После ухода из жизни Б. Г. Юдина (2017) в работах философов произошло переключение внимания с вопроса о радикальной трансформации человеческой природы на вопрос о биомедицинском контроле над здоровьем и жизнью. Возможно, причиной тому – потребность в актуализации более реалистичных, «земных» проблем, некоторое время ускользавших на фоне слишком громких заявлений адептов трансгуманизма о скорой возможности полностью «переписать» человеческую природу с помощью биотехнологий. Примером такой перефокусировки взгляда стали работы Е. Г. Гребенщиковой о появлении феномена «потребительской геномики» – новых социальных практик, связанных с использованием индивидами значимой генетической информации [Гребенщикова 2020], Р. Р. Белялетдинова о том, как появление возможностей «редактирования человека» изменяет процедуры биоэтики и трансформирует отношение людей к «судьбе» предоставляемых ими биологических материалов [Белялетдинов 2021].

В свою очередь, в теологическом сообществе также наметилась некоторая трансформация биоэтической проблематики. Традиционное для православных теологов внимание к проблеме вмешательства в репродуктивную сферу дополнилось интересом к проблемам генетического усовершенствования человека, редактирования генома, генетической паспортизации и др. На исходе второго десятилетия XXI века теологи, кроме того, сформулировали свое отношение к идеологии трансгуманизма, подготовив соответствующие реко-

мендации для Церковно-общественного совета по биомедицинской этике. В подготовленном заявлении Совета было отмечено, что трансгуманизм «низводит человека в положение “устаревшего” и вводит его в пагубный круг перманентного усовершенствования, в конце которого он рискует вообще потерять понимание “человеческого”» [Заявление о трансгуманизме» 2020, 38].

Отражением расширяющегося интереса теологов к указанным выше проблемам стали разработки доктора богословия иеромонаха Евгения (Зинковского). Опираясь на святоотеческое учение о плоти и материи, он подчеркивал, что для христиан человеческое тело является не грубой материей, с которой можно делать, что угодно, но храмом Божиим, поэтому манипуляции с телом – так называемый «биоапгрейдинг» – аморальны по сути. «При принятии представления о человеке как творении Бога мы неизбежно приходим к позиции благоговейного сохранения того, что заложено Творцом в нашу материально-духовную природу, одновременно подчеркивая священность свободного произволения, нравственного выбора человека, который не подвергается насилию даже со стороны Господа Бога» [Иеромонах Евгений (Зинковский) 2018, 183].

Представленная картина современного состояния биоэтики в России, безусловно, является неполной. Она воссоздана лишь в самых общих чертах, но все же позволяет увидеть некоторые значимые тенденции и работу представителей философского и теологического сообществ по осмыслению перспектив человека в связи с развитием биомедицинских технологий. Существует интересное наблюдение о том, что «генезис биоэтики есть ответ на социальный запрос в необходимости “сторожа”¹⁰ <...> для предотвращения моральных катаклизмов, вызываемых темпом прогресса <...> и соблазнами прогресса» [Мелик-Гайказян 2021, 11]. Оно весьма удачно характеризует попытки двух групп экспертов – философов и теологов – защитить личность и достоинство человека перед натиском технологий, позволяющих вмешиваться в человеческую природу на фундаментальном уровне. Несложно увидеть, что в настоящее время первые находят свое предназначение в том, чтобы бить тревогу по поводу «темпов» распространения биотехнологий и скорости изменений человеческой природы, которые, как считают философы, возможны в принципе. Вторые же видят свою миссию в том, чтобы заявить о «соблазнах» прогресса, суть которых в том, чтобы позволить человеку – без Бога – стать творцом собственной природы и заменить себя на нечто совсем другое.

¹⁰ Исаия 21:6.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Архимандрит Мелхиседек (Артюхин) 2017 – *Архимандрит Мелхиседек (Артюхин)*. Медиализация греха и искусственное оплодотворение // Православие и проблемы биоэтики: сб. работ. М., 2017. С. 383–389.
- Архимандрит Филипп (Филиппов) 2017 – *Архимандрит Филипп (Филиппов)*. Пренатальная диагностика в контексте пастырского опыта // Православие и проблемы биоэтики: сб. работ. М., 2017. С. 363–367.
- Белкина, Корсаков 2008 – *Белкина Г. Л., Корсаков С. Н.* И. Т. Фролов и становление отечественной биоэтики // Биоэтика и гуманитарная экспертиза. М.: ИФ РАН, 2008. Вып. 2. С. 18–54.
- Белкина, Корсаков, Фролова 2021 – *Белкина Г. Л., Корсаков С. Н., Фролова М. И.* Путь к Институту человека // Человек. 2021. № 4. С. 53–74.
- Беялетдинов 2021 – *Беялетдинов Р. Р.* Биокультурная теория и проблема редактирования человека // Человек. 2021. Т. 32, № 6. С. 29–41.
- Брызгалина и др. 2022 – *Брызгалина Е. В., Вархотов Т. А., Зайцев Д. В., Козырев А. П., Кротов А. А.* Требуется эксперты XXI века! // Вопросы философии. 2022. № 1. С. 6–18.
- Введение в биоэтику 1998 – *Введение в биоэтику: учеб. пособие*. М.: Прогресс-Традиция, 1998. 384 с.
- Горбулёва и др. 2020 – *Горбулёва М. С., Мелик-Гайказян И. В., Первушина Н. А.* Инициативы педагогической биоэтики // Высшее образование в России. 2020. Т. 29, № 6. С. 122–128.
- Гребенщикова 2020 – *Гребенщикова Е. Г.* Потребительская геномика и генетизация общества: переосмысление идентичности, социальных связей и ответственности // Социологические исследования. 2020. № 2. С. 13–19.
- Гудков, Юдин 1995 – *Гудков Л. Д., Юдин Б. Г.* Медицинская этика и право на информацию // Социологический журнал. 1995. № 4. С. 127–132.
- Заявление о клонировании 2017 – *Заявление о морально-этической недопустимости клонирования человека* // Православие и проблемы биоэтики: сб. работ. М., 2017. С. 105–107.
- Заявление о новых репродуктивных технологиях 2017 – *Заявление о нравственных проблемах, связанных с развитием новых репродуктивных технологий* // Православие и проблемы биоэтики: сб. работ. М., 2017. С. 89–92.

- Заявление об эвтаназии 2017 – Заявление о современных тенденциях легализации эвтаназии в России // Православие и проблемы биоэтики: сб. работ. М., 2017. С. 66–67.
- Заявление о трансгуманизме 2020 – Заявление Церковно-общественного совета по биомедицинской этике Русской Православной Церкви «Постчеловечество в трансгуманизме» // Православие и проблемы биоэтики: сб. работ / под ред. И. В. Силуяновой. М., 2020. С. 37–38.
- Игумен Анатолий Берестов 2017 – *Игумен Анатолий (Берестов)*. Проблема эвтаназии в контексте пастырского и врачебного опыта // Православие и проблемы биоэтики: сб. работ. М., 2017. С. 55–59.
- Иеромонах Евгений (Зинковский) 2018 – *Иеромонах Евгений (Зинковский)*. Святоотеческое учение о плоти и материи и современные биомедицинские технологии // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2018. № 4. С. 180–187.
- Иеромонах Димитрий Першин 2017 – *Иеромонах Димитрий (Першин)*. Этические проблемы терапевтического клонирования // Православие и проблемы биоэтики: сб. работ. М., 2017. С. 347–353.
- Кирилл, Патриарх 2017 – *Кирилл, Святейший Патриарх Московский и всея Руси*. О человеческом достоинстве и биотехнологиях // Православие и проблемы биоэтики: сб. работ. М., 2017. С. 21–30.
- Корсаков 2008 – *Корсаков С. Н.* Академик И. Т. Фролов и развитие биоэтики в России // Человек. 2008. № 3. С. 27–37.
- Мелик-Гайказян 2021 – *Мелик-Гайказян И. В.* Биоэтика и семиотика: вместо предисловия // ПРАЕНМА. Проблемы визуальной семиотики. 2021. № 3. С. 9–18.
- Митрополит Сурожский Антоний 2012 – *Митрополит Сурожский Антоний*. Труды. 2-е изд. М.: Практика, 2012. Кн. 1. 1109 с.
- Основы 1993 – Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан. 22.07.1993. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2413/ (дата обращения: 18.09.2021).
- Основы социальной концепции РПЦ 2000 – Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. М., 2000.
- Писаревский 2013 – *Писаревский В.* Биоэтика как форма христианской миссии // Православие.Ru. 13.03.2006. URL: <http://pravoslavie.ru/467.html> (дата обращения: 18.09.2021).
- Протоиерей Игорь Аксенов 2017 – *Протоиерей Игорь Аксенов*. Прогресс и человеческое достоинство. Этические вопросы современных репродуктивных технологий // Православие и проблемы биоэтики: сб. работ. М., 2017. С. 401–422.

- Протоиерей Максим Обухов 2017а – *Протоиерей Максим Обухов. Этический аспект манипуляций над эмбрионами* // Православие и проблемы биоэтики: сб. работ. М., 2017. С. 84–88.
- Протоиерей Максим Обухов 2017б – *Протоиерей Максим Обухов. Переступит ли человечество роковую черту?* // Православие и проблемы биоэтики: сб. работ. М., 2017. С. 95–98.
- Протоиерей Николай Балашов 2017 – *Протоиерей Николай Балашов. Репродуктивные технологии: дар или искушение?* // Православие и проблемы биоэтики: сб. работ. М., 2017. С. 71–83.
- Священник Владимир Зелинский 2002 – *Священник Владимир Зелинский. Благодарение жизни: от биоэтики к Премудрости. Попытка православного осмысления* // Сгречча Э., Тамбоне В. Биоэтика: учебник. М.: Библейско-Богословский институт Св. Апостола Андрея, 2002. С. 387–408.
- Фролов 2002 – *Фролов И. Т. Избранные труды: в 3 т. М.: Наука, 2002. Т. 2: Философия и история генетики. 542 с.*
- Фролов, Юдин 1986 – *Фролов И. Т., Юдин Б. Г. Этика науки: проблемы и дискуссии. М.: Политиздат, 1986. 400 с.*
- Фукуяма 2004 – *Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее: последствия биотехнологической революции. М.: АСТ, 2004. 352 с.*
- Фут 1990 – *Фут Ф. Эвтаназия* // Философские науки. 1990. № 6. С. 63–80.
- Харитоновна, Юдин 2011 – *Харитоновна В. И., Юдин Б. Г. «Биоэтика – это не совсем то, что принято понимать как науку...»* // Медицинская антропология. 2011. № 1. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26152391> (дата обращения: 12.11.2021).
- Юдин 2004 – *Юдин Б. Г. Еще раз о перспективах человека* // Человек. 2004. № 4. С. 17–27.
- Юдин 2006а – *Юдин Б. Г. Чтоб сказку сделать былью? (Конструирование человека)* // Бюллетень сибирской медицины. 2006. № 5. С. 7–19.
- Юдин 2006б – *Юдин Б. Г. К биоэтике я шел непростым путем* // Знание. Понимание. Умение. 2006. № 1. С. 92–100.
- Юдин 2007 – *Юдин Б. Г. Сотворение трансчеловека* // Вестник Российской академии наук. 2007. № 6. С. 520–527.
- Юдин 2008 – *Юдин Б. Г. Проблема конструирования человека* // Вестник Международной Академии Наук (Русская секция). 2008. № 1. С. 6–10.
- Юдин 2011 – *Юдин Б. Г. Человек как объект технологических воздействий* // Человек. 2011. № 3. С. 5–20.

- Юдин 2013 – Юдин Б. Г. Трансгуманизм – наше будущее? // Человек. 2013. № 4. С. 5–17.
- Юдин и др. 1996 – Юдин Б. Г. и др. Этико-правовые проблемы биомедицинских исследований и практического здравоохранения в современной России // Бюллетень РФФИ. 1996. № 4. С. 307.
- Cooper 2008 – Cooper M. Life as Surplus: Biotechnology and Capitalism in the Neoliberal Era. Seattle: University of Washington Press, 2008.
- Gudkov, Tichtchenko, Yudin 1998 – Gudkov L., Tichtchenko P., Yudin B. Human Genetic Improvement: a Comparison of Russian and British Public Perceptions // Bulletin of Medical Ethics. 1998. № 134. P. 20–23.
- Metropolitan Anthony of Souruzh 1976 – Metropolitan Anthony of Sourozh. Human Values in Medicine // Bristol Medico-Chirurgical Journal. 1976. Vol. 91 (1–2). P. 3–7.
- Schneider et al. 2021 – Schneider M., Vayena E., Blasimme A. Digital Bioethics: Introducing New Methods for the Study of Bioethical Issues // Journal of Medical Ethics. 2021. URL: <http://dx.doi.org/10.1136/medethics-2021-107387>
- Tichtchenko, Yudin 1992 – Tichtchenko P., Yudin B. Toward a Bioethics in Post-Communist Russia // Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics. 1992. Vol. 1 (4). P. 295–303.
- Yudin 1992 – Yudin B. Bioethics for the New Russia // The Hastings Center Report. 1992. Vol. 22 (3). P. 5–6.
- Yudin 2004 – Yudin B. Medical Ethics, History of Europe: Contemporary Period. Russia // Encyclopedia of Bioethics / S. G. Post (ed.). 3rd ed. New York: Thomson & Gale, 2004. P. 1650–1658.

Материал поступил в редакцию 12.11.2021

Материал поступил в редакцию после рецензирования 18.01.2022

ЯПОНСКАЯ РЕКЛАМА СКВОЗЬ ПРИЗМУ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ФЕНОМЕНОВ: ИДЕИ И ОБРАЗЫ

А. Д. Мозгунова

Московский городской педагогический университет, Россия
Московский государственный университет международных отношений,
Россия
MozgunovaAD@mgpu.ru

Философы постмодерна рассматривают язык не пассивным посредником между реальностью и мышлением, а призмой, через которую человек воспринимает эту реальность. Так, Ж. Бодрийяр высказывает идею о том, что человек посредством СМИ потребляет сами знаки, а не действительность. Схожая задача ставится и перед рекламными текстами. Реклама представляет собой особый вид текста, который, являясь одним из инструментов, стимулирующих экономические процессы, одновременно обладает огромной силой психологического воздействия. Реклама стала неотъемлемой частью массовой культуры современного общества, ее основная цель состоит уже не только в информировании потребителя о товарах и услугах, но и в формировании оценок, установок и образа жизни человека. С другой стороны, визуализируя интересы, желания, мотивы потребителя, формируя его потребности, реклама отражает менталитет страны, в которой она была создана, а также ценностные установки общества, апеллируя к ним.

В этой связи представляется актуальным проанализировать употребление прецедентных феноменов в японоязычных рекламных сообщениях с тем, чтобы выявить, какие образы формируются на их основе, как воспринимает и оценивает себя японское общество. Для достижения цели были применены методы наблюдения и обобщения, сплошной выборки, описания, когнитивной интерпретации и количественной обработки.

Прецедентные феномены представляют собой вербальные и невербальные элементы, отсылки к которым возобновляются в дискурсе носителя определенной лингвокультуры. Среди прецедентных феноменов выделяют прецедентные текст, имя, высказывание и ситуацию. Обладая эмоциональной и когнитивной значимостью, прецедентные феномены аксиологически заряжены и зачастую употребляются в коннотативном значении, помогая вербализации культурного концепта и актуализации в сознании реципиента определенных оценок и ассоциаций, ценностных установок целого пласта социума. Речь идет как об оценке рекламируемого товара, так и об оценке и позиционировании самих себя в мировой системе координат либо через контраст реальной ситуации с прецедентной, либо через соположение; это возможно благодаря тому, что прецедентный феномен является хранилищем экстралингвистической и энциклопедической информации.

Анализ прецедентных феноменов, обнаруженных в японской рекламе, позволяет сделать вывод, что наиболее частотным является употребление прецедентных имён, что продиктовано необходимостью введения в рекламное сообщение главного героя сюжета, осуществляющего аргументацию: реципиент следит за развитием рекламного сюжета с участием знакомых персонажей, в перипетиях которого теряется навязчивая утилитарная направленность рекламы. Зачастую прецедентные феномены выполняют парольную функцию: в японской рекламе преобладают феномены национальной культуры; наиболее часто встречаются феномены, относящиеся к полю «История», на втором месте оказывается поле «Сказки». Тенденция к использованию в рекламных сообщениях прецедентных феноменов, относящихся к вышеуказанным полям, отражает позитивное и уважительное отношение японцев к своей истории, культуре, корням: в рекламе формируется образ единой мононациональной страны, ценящей и осознающей преемственность и тесную связь с общим прошлым, которым она заслуженно гордится.

Ключевые слова: реклама, прецедентные феномены, коммуникация, оценки, японская культура, история, литература, фольклор, гравюра.

JAPANESE ADVERTISEMENTS AND COMMERCIALS IN THE CONTEXT OF PRECEDENT-RELATED PHENOMENA: IDEAS AND IMAGES

Aleksandra D. Mozgunova

Moscow City University, Moscow, Russia

MGIMO University, Moscow, Russia

MozgunovaAD@mgpu.ru

Philosophers of postmodernism consider language to be not a passive mediator between reality and consciousness but a prism, through which people interpret the reality: J. Baudrillard said that mass media demonstrate people signs instead of reality. It is similar to the role that advertisements and commercials play. Ads and commercials reveal and, moreover, help create intentions and desires of society, and have a close relationship with it, being a kind of a guide for the recipient. It seems to be an issue of high importance to investigate the usage of precedent-related phenomena in Japanese advertisements and commercials to distinct how Japanese society represents, evaluates, and reflects itself, what images the society and the recipient can create through them. Precedent-related phenomena are verbal and non-verbal elements which are repeated in the discourse of a linguacultural community. There are several types of precedent-related phenomena such as precedent-related text, name, phrase, and situation. Being important in emotional and cognitive ways, precedent-

related phenomena are often used in connotative meanings in order to reveal cultural values and associations within the recipient: precedent-related phenomena help express values and cultural concepts of a group or society. They make possible to estimate the product or to manifest one's position on a global scale by comparing or contrasting a real situation with a precedent-related one. Therefore, precedent-related phenomena impact the recipient with all their linguacultural information, and imply additional characteristics. Precedent-related phenomena are used not only in oral or written speech, literature, but also in advertisements and commercials, which borrow all the above-mentioned features. Thus, such phenomena help imply positive meanings to the object of ads, draw attention to it, imply characterization, become a source of argumentation through emotional cognition, entertain the recipient and bring them aesthetic pleasure when a well-known precedent-related phenomenon becomes, for example, a part of a pun or a core part of narrative advertising. Precedent-related phenomena are frequently used in headings or slogans to catch the recipient's attention or set the tone of an advertisement, to create a more complicated image of a product via associations. The analysis shows that, among all precedent-related phenomena in advertisements and commercials, names are used more frequently. Perhaps this is due to the necessity to introduce the protagonist, who will express the product's advantages, into the conception. A precedent-related name can also build direct or indirect arguments. Recipients follow the advertisement's plot, where familiar precedent-related names appear, and its twists and turns help hide the intentions of utilitarianism marketing. Precedent-related phenomena can also serve a function of a password: phenomena based on national culture dominate in Japanese advertisements and commercials. Among the different source-fields of the phenomena, the "History" field predominates, the "Fairy-Tales" comes second. This highlights Japanese society's respectful and positive attitude to their history and culture. Ads and commercials create an image of a mono-national society, who understand and value their link to ancestors and their heritage, which all the Japanese are truly proud of.

Keywords: advertisement, commercial, precedent-related phenomena, communication, recognition, Japanese culture, history, literature, folklore, print.

DOI 10.23951/2312-7899-2022-2-112-135

Введение

Феномен прецедентности привлекает к себе внимание исследователей разных областей научного знания: лингвистов, культурологов и философов. Данный феномен получил множество определений, в которые вкладывается различное содержание в зависимости от

научной парадигмы, в их числе: прецедентный феномен (Д. Б. Гудков, В. В. Красных, Д. В. Багаева), прецедентный текст (Г. Г. Слышкин), логоэпистема (Н. Д. Бурвикова, В. Г. Костомаров), прецедентный культурный знак (Ю. Б. Пикулева), текстовая реминисценция (А. Е. Спрун), интертекст (Ю. Кристева), интертекстуальная метафора (Й. Цинкен). Между тем приведенные понятия роднит «...присутствие в тексте других текстов или их элементов», как отмечает С. Л. Кушнерук [Кушнерук 2006, 20].

В научный обиход понятие «прецедентные тексты» было введено основоположником теории прецедентности Ю. Н. Карауловым и определено им как «(1) значимые для той или иной личности в познавательном и эмоциональном отношениях, (2) имеющие сверхличностный характер, т. е. хорошо известные и широкому окружению данной личности, включая ее предшественников и современников, и, наконец, такие (3), обращение к которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой личности» [Караулов 2010, 216].

Продолжая далее развивать теорию прецедентности в работе «Прецедентное имя и прецедентное высказывание как символы прецедентных феноменов» В. В. Красных, Д. Б. Гудков, И. В. Захаренко, Д. В. Багаева создали расширенную классификацию прецедентных феноменов (ПФ), выделяя вербализируемые и вербальные феномены – прецедентные текст, ситуацию, высказывание, имя.

Прецедентный текст (ПТ) – сложный знак, сумма значений компонентов которого не равна его смыслу. К числу прецедентных текстов принадлежат произведения художественной литературы, тексты песен, рекламы, политические публицистические тексты и т. д. [Захаренко и др. 1997, 83].

Прецедентная ситуация (ПС) – некая «эталонная», «идеальная» ситуация, связанная с набором определенных коннотаций, дифференциальные признаки которой входят в когнитивную базу; означающим ПС могут быть прецедентное высказывание или прецедентное имя [Захаренко и др. 1997, 83].

Прецедентное высказывание (ПВ) – репродуцируемый продукт речемыслительной деятельности; законченная и самодостаточная единица, которая может быть или не быть предикативной; сложный знак, сумма значений компонентов которого не равна его смыслу; в когнитивную базу входит само ПВ как таковое. К числу ПВ принадлежат цитаты из текстов различного характера, а также пословицы [Захаренко и др. 1997, 83].

Прецедентное имя (ПИ) – индивидуальное имя, связанное или с широко известным текстом, как правило, относящимся к прецедентным, или с прецедентной ситуацией; это своего рода сложный знак, при употреблении которого в коммуникации осуществляется апелляция не собственно к денотату, а к набору дифференциальных признаков данного прецедентного имени [Захаренко и др. 1997, 83].

Прецедентные феномены фиксируют знания и представления, актуальные для того ли иного народа, выступают средством реализации концептов, и, будучи аксиологически значимыми для носителей лингвокультуры, задают определенную модель поведения. При этом, как отмечает Д. Б. Гудков, носители лингвокультуры оперируют не полными, «энциклопедическими» характеристиками ПФ, а хранящимися в индивидуальном сознании инвариантами, что «позволяет индивиду ориентироваться в пространстве соответствующей культуры и действовать по ее законам» [Гудков 2003, 93]. Таким образом, знакомство с прецедентными текстами демонстрирует принадлежность участников коммуникации к единому культуре, эпохе, сообществу.

Можно отметить, что японская культура, поэзия и литература в частности, имеют богатый и долгий опыт обращения к прецедентным феноменам, включая их в повествование с тем, чтобы, с одной стороны, насытить его вторыми планами, расширить рамки произведения, а с другой – создать общую канву, единую цепь, перекликаясь в новых витках повествования со значимыми событиями и деятелями прошлого. Так, в поэтических антологиях Кокинсю (922) и Синкокинсю (XIII век) можно видеть использование приёма хонкадори – «следование основной песне», который широко распространился в IX веке и подразумевает включение в произведение фрагмента или отсылки к известному произведению другого автора. В современной же рекламе данный прием позволяет повысить уровень суггестивного воздействия на реципиента, увеличить емкость и образность сообщения, добавив веса аргументации и введя дополнительные оценки. Японские исследователи феномена прецедентности указывают, что интертекст, или прецедентный текст, имеет схожее употребление с приёмом хонкадори, однако, в отличие от данного приёма, подразумевающего включение в произведение фрагментов и отсылок к стихотворению другого автора, феномен интертекстуальности подразумевает, что цитируемый текст также может подвергаться влиянию и трансформироваться вследствие его включения в цитирующий [Shinohara 1999].

Методология исследования

Исследование проводилось на основе анализа отобранных 195 рекламных сообщений, содержащих прецедентные феномены. При этом было выделено 108 феноменов, представленных в рекламных текстах непосредственно – вербальными или экстралингвистическими средствами¹. Отбор материала производился методом сплошной выборки среди образцов рекламных сообщений, доступных для ознакомления посредством сети Интернет в период 2014–2019 гг., а также в результате непосредственного личного восприятия рекламных образцов в период 2019–2020 гг.

В процессе исследования использовались следующие методы: наблюдение, обобщение, методы сплошной выборки, описания, когнитивной интерпретации и количественной обработки полученных данных. Описательный метод применялся в ходе анализа – описания, систематизации и интерпретации отобранного материала – с целью выявления и иллюстрации лингвокультурологических характеристик отобранных единиц.

ПФ могут как укреплять, так и деформировать сложившиеся ценностные ориентиры, стереотипы и т. д. Проведенный анализ употребления ПФ в японской рекламе показывает, в каком направлении происходит воздействие на реципиента в японских рекламных тестах. Приведенные примеры наглядно отражают выводы, которые были сделаны на основе систематизации и количественного анализа собранных методом сплошной выборки данных в процессе проведения исследования, позволяя на иллюстративном материале продемонстрировать способы функционирования ПФ, задачи и тип ПФ, используемых в рекламных текстах, а также тот посыл, который сопровождает включение ПФ в рекламные сообщения. Иллюстративный материал статьи охватывает четыре основных типа ПФ, функционирующих как в неизменном, так и трансформированном виде, способы обращения ПФ и наиболее широко представленные сферы – источники ПФ в японской рекламе, а также наглядно демонстрирует функции, выполняемые введенными ПФ.

¹ Количество случаев введения ПФ равняется 108, что оказывается меньше количества рекламных сообщений, содержащих ПФ (195 образцов): в процессе подсчёта не учитывались употребления одних и тех же ПФ в рекламных сериях, представляющих один и тот же продукт, – таковое употребление принималось за единичное.

Функциональные свойства прецедентных феноменов в японской рекламе

В проанализированных рекламных сообщениях большую часть ПФ составляют прецедентные имена – 77 %. На втором месте находятся прецедентные высказывания – 12 %; далее следуют прецедентные тексты (7 %) и прецедентные ситуации (4 %).

Прецедентные имена относятся к вербализованным прецедентным феноменам, что само по себе упрощает процесс их введения в принимающий текст. ПИ обладает дифференциальными признаками, к которым относятся внешность или черты характера, личностные особенности; кроме того, ПИ обладает набором атрибутов – тех идентифицирующих и выделяющих его среди прочих ПФ особенностей, посредством которых возможна апелляция именно к данному ПИ [Захаренко и др. 1997, 89–91]. Полученные данные говорят о важности введения в рекламное сообщение узнаваемого лица, значимого персонажа с точки зрения создания рекламной кампании или сообщения: прецедентное имя может выступить главным героем сюжетной линии, советчиком, объектом подражания или авторитетным лицом, осуществляющим скрытую аргументацию, либо, обладая дифференциальными признаками, внести желаемые рекламодателю характеристики².

Так, например, в серии телевизионных рекламных роликов Toyota Crown 14-го поколения в сюжет рекламы вводятся имена военно-политических лидеров Японии: Ода Нобунага (1534–1582), Тоётоми Хидэёси (1537–1598), Токугава Иэясу (1543–1616), и имена ряда других политиков и деятелей искусства XVI–XVII веков. Сюжет обыгрывает ситуацию, при которой указанные исторические личности путешествуют на автомобилях марки Toyota по современной Японии: пере выпуск Toyota Crown в 2012 году происходил под слоганом *Fun to drive again* (ил. 1). Данные ПИ актуализируют в сознании реципиента цепочки смыслов «ожившая история, величие, созидание, авторитетность мнения, уверенность, решимость». Идея верности идеалам, стремление действовать, бороться за светлое будущее вложены создателями рекламы в уста образов Ода Нобунага и Тоётоми Хидэёси. В рекламные сообщения серии, таким образом, включены идеи престижа, надежности, перерождения и возрожде-

² Привлечение для съемок в рекламе актеров, музыкантов и *тарэнто* (люди, занятые в индустрии развлечений, от англ. talents) в целях создания положительного образа товаров как элемент ненавязчивой рекламы является распространенным приемом; в Японии более 50 % рекламных сообщений товаров и услуг создают с участием знаменитостей [Prieler, 2007, 35]. Схожим образом используются и прецедентные имена.

ния чего-то великого в современном мире, подобно возрождению великих деятелей прошлого, которые и перенимает на себя рекламируемый объект – Toyota Crown [Мозгунова 2020, 197].



Ил. 1. Реклама Toyota Crown. Источник: <https://www.mebic.com/report/apa-x-mebic.html>

Анализируя употребление ПФ с точки зрения признаков характеристики – какие характерная черта, атрибут ПИ оказываются релевантными, какие признаки они приписывают рекламируемому объекту, – заметим, что лишь для 10,3 % прецедентных имен, встреченных в проанализированных рекламных сообщениях, оказываются принципиально важными конкретные дифференциальные признаки или атрибуты (например, связь с прецедентной ситуацией). В 50,6 % при использовании ПИ в сознании потребителя актуализируется совокупность признаков: представления, закрепленные за ПИ, могут быть разнородными и в то же время размытыми – в таких случаях сложно выделить единый четкий признак или атрибут, который был бы наиболее значим для данного ПИ и характеризовал рекламируемый объект. Это играет на руку создателям рекламы, позволяя акцентировать внимание именно на тех характеристиках, которые будут больше соответствовать концепции рекламодателя, и вписать ПИ в сюжет.

Важность сообразного включения ПФ в тексты подчеркивают многие ученые. Так, О. Ю. Стародубова говорит о том, что «особенно важно грамотное (аутентичное, конструктивное, создающее, а не разрушающее конструкт под названием «ценностная картина

мира») включение ПТ (ПФ) в новое текстовое пространство как микротекста, концентрирующего стилистико-ментальные когнитивные процессы, имплицитно выражающего пресуппозицию, актуализирующего знание прошлого и его связь с современностью. ПФ организует диалог эпох, а значит историческую преемственность, и, следовательно, в сознании потребителя выстраивается логика историко-культурного процесса, формирующего истинную национальную идентичность, а значит устойчивость к восприятию некачественной информации» [Стародубова 2019, 75]. Подобное включение ПФ в новые контексты оказывает воздействие в обоих направлениях: как на цитирующий, так и на цитируемый текст. Приведенный пример интересен именно тем, что позволяет продемонстрировать, как включение ПИ в рекламный текст воздействует на представления об указанных исторических личностях, – в данном случае происходит их романтизация, создается новый виток истории, которая получает продолжение спустя 400 лет. Кроме того, пример позволяет продемонстрировать реализацию введенным ПИ авторитетной, эстетической (перенос оценки на товар), имиджевой и аргументирующей функций.

В рассмотренной выше серии рекламных роликов Toyota Crown актуализирована именно совокупность признаков прецедентных имен, что и помогает сформировать указанные выше ассоциации. Среди признаков, в частности, выделяется связь одного из имен – Ода Нобунага – с прецедентной ситуацией, о которой в рекламных сериях упоминается: речь идет о так называемом «инциденте в Хоннодзи»³. Примечательным является тот факт, что среди всех ПС, обнаруженных в проанализированных рекламных сообщениях, топоним Хоннодзи как указание на прецедентную ситуацию встречается дважды. Можно предположить, что в японской лингвокультуре обнаруживается своя ПС, выражающая идею предательства, известная каждому, подобно тому как для носителя западной и христианской культуры ПС предательства связана с именами Иуды и Брута. Подтверждением тому может служить сопоставление в речи одного из персонажей рекламного ролика Toyota Crown данных ситуаций (инцидент в храме Хоннодзи и предательство Юлия Цезаря Брутом).

Что же касается конкретизированных дифференциальных признаков, они могут включать в себя личностные особенности, которые

³ Хоннодзи – буддийский монастырь в г. Киото, где имел место «инцидент в Хоннодзи», в ходе которого Ода Нобунага был вынужден совершить самоубийство: расположившийся в монастыре со своей свитой феодал Ода Нобунага был предан одним из своих военачальников – Акэти Мицухидэ (1528–1582).

и будут акцентироваться в рекламе. Например, аллюзия на образ Сугаты Сансиро в рекламе сега Сатурн (1992–1998) подчеркивает мастерство владения боевыми искусствами – те особенности героя романа Цунэо Томита, которые оказываются релевантными для описания рекламируемого объекта (игровой приставки). В рекламе используется визуальный образ, а в рекламном слогане использована аллюзия на прецедентное имя: せがた三四郎、せがた三四郎、セガ・サターンしろ！ Сэгата Сансиро; Сэгата Сансиро; сэга Сата:н сиро! «Сэгата Сансиро, Сэгата Сансиро, Играйте в белую сегу Сатурн!» (ил. 2). Образ искусного мастера боевых искусств, к которому дается отсылка, иллюстрирует примерное содержание игр и обещает увлекательный игровой процесс для любителей жанров Экшн и Файтинг.



Ил. 2. Реклама сега Сатурн. Источник: <http://fanblogs.jp/sisibouuuheki/archive/477/0>

Как отмечает М. В. Терских, «креативной особенностью сообщений социальной рекламы можно считать трансформацию облика прецедентной личности с целью более эффективного донесения до сознания реципиентов основного рекламного посыла» [Терских 2017, 75], однако данное свойство присуще не только текстам социальной рекламы, что можно заметить на данном примере.

Кроме того, пример интересен тем, что здесь наблюдается нарушение исходного образа ПИ (происходит отрицательная трансформация – герой рекламного ролика далёк от своего прототипа), к которому дается отсылка в рекламе. Таких примеров обнаружено минимальное количество, что может говорить о стремлении создателей

японской рекламы опираться на существующие установки, концепты и оценки, сохраняя их при включении ПФ в рекламный контекст, нежели дискредитировать их в глазах реципиента.

Отметим, что ПФ не всегда призваны расширять семантику рекламного сообщения, порой они выступают только средством привлечения и удержания внимания, тогда признаки могут быть нерелевантными вообще, поскольку актуальной оказывается форма, – таких примеров 39,1 %. ПФ может лечь в основу каламбура, создавая эффект языковой игры, который помогает снизить критичность восприятия и донести необходимую информацию в обход строгих фильтров рационального мышления, завуалировав основной посыл рекламного сообщения, или просто развлечь аудиторию, вовлекая в игру. При этом удовольствие от процесса игры, одобрительная оценка изобретательности переносятся на восприятие товара и повышают самооценку потребителя [Эко 1998, 177].

Примером подобного употребления ПИ могут служить рекламные тексты школы Мисудзу Гакуэн, организующей курсы подготовки к экзаменам (2009–2018). В серии рекламных видеороликов школы используются каламбуры, в основе которых лежат имена известных личностей. Сообщения построены по одному шаблону, в данной работе рассмотрим одно из сообщений, где используются ПИ японских божеств (ил. 3):

英語はやっぱりエービースー から勉強だ。	Эйго ва яппари Э:би:су:-кара бэнкё:да.	Английский надо начинать учить с азов ⁴ : Э-би-су ⁵ .
数学はビシャ満点 になるまでチャレンジ。	Су:гаку ва Бисямантэн-ни нару мадэ тярэндзи.	Брошу вызов матема- тике и получу высший балл, Бисямон!
仏ブツ言わずに 勉強だ。	Буцубуцу ивадзу-ни бэнкё:да.	Не жалуйся Будде: бу-бу-бу – учиться и еще раз учиться!
ねじり八幡で がんばれよ!	НэджириХатиман-дэ гамбарэба!	Только бы бороться, пока хватит сил, да поможет Хатиман!
これで絶対 う観音!	Корэ-дэ дзэттай Уканнон!	Наверняка Каннон смиловится, и я сдам!

⁴ В переводе курсивом выделены имена божеств, обыгрываемые в сообщении, и перевод лексических единиц-паронимов, которые легли в основу каламбура.

⁵ В данном рекламном сообщении приводятся имена и образы японских божеств: Эбису – один из семи богов удачи, покровительствует рыболовству; Бисямонтэн – один из семи богов удачи, дарует удачу, богатство; Хатиман – бог войны, покровительствует воинам; Каннон – богиня милосердия.



Ил. 3. Реклама школы Мисудзу Гакуэн.

Источник: <https://ワールドメイト入会.tokyo/広告会社が作るcmよりも面白い/>

В приведенном примере обращение происходит к прецедентным именам, семантически и логически непосредственно не связанным со свойствами рекламируемого объекта и не предполагающим обнаружение параллелей с содержанием рекламного текста. Но, как уже говорилось, таких примеров логически немотивированного введения прецедентных феноменов меньше. Как отмечают Р. А. Волкова и Б. С. Кабаньян, «несмотря на то, что прецедентный феномен может быть коннотативно нейтрален, его погружение в конкретный контекст позволяет создать образ, оказывающий экспрессивно-эмоционально воздействие на реципиента и целевую аудиторию в целом» [Волкова, Кабаньян 2020, 107], в том числе посредством развлечения реципиента.

Введение ПФ влияет на характер ассоциативных связей, поскольку значимые в познавательном и эмоциональном плане феномены усиливают прагматическое и суггестивное воздействие рекламы [Гудков 1998, 84]. ПФ обладают фиксированной, хорошо знакомой формой, а «оформленное в подобную оболочку содержание воздействует на потребителя гораздо эффективнее, избегая личностных когнитивных шаблонов» [Волкова, Кабаньян 2020, 108].

Так, например, в рекламном постере строительной техники Hitachi (2013–2014) использован слоган 風林火山 建機の負けん気 (Фу:рин-ка-дзан кэнки-но макэн-ки «Ветер, лес, огонь гора. Строительная техника, которая не уступит»⁶, в основу которого положено

⁶ Здесь представлен вариант рекламного перевода. Литературный устойчивый перевод использованного прецедентного выражения представлен далее в пояснении.

прецедентное высказывание 風林火山 ふーりん-か-だん – усеченный вариант лозунга 疾きこと風の如く、徐かなること木の如く、侵掠すること火の如く、動かざること山の如 хаяки кото казэ-но готоку, сидзуканару кото хаяси-но готоку, синрякусуру кото хи-но готоку, угокадзару кото яма-но готоси «Будь стремителен, как ветер, спокоен, как лес, беспощаден, как огонь, неподвижен, как гора», украшавшего знамена феодала Такэда Сингэна (1521–1573) и заимствованного им из трактата «Искусство войны» Сунь Цзы (554–496 гг. до н. э.) [New dictionary] (ил. 4). Прецедентный феномен употреблен с целью придать положительные коннотации объекту рекламы: уподобление идеалов строительной техники Hitachi идеям, успехам японского полководца, древней мудрости мыслителей, приобщение к их славе позволяют представить компанию как надежную, имеющую четкую стратегию и достойную доверия.



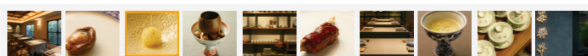
Ил. 4. Реклама Hitachi.

Источник: <https://www.hitachimc.com/global/jp/corporate/publicity/ads/>

Пример примечателен тем, что в трактовке Hitachi, выраженной основным рекламным текстом «моментально реагирует на изменения ситуации подобно ветру, спокойно и размеренно развивается подобно лесу, работает с огоньком, принципы непоколебимы подобно горам», прецедентное высказывание приобретает новый смысл: благодаря дополнительным пояснениям, сопровождающим слоган, ПВ может трактоваться как выражение стремления к передовым технологиям, сохранению окружающей среды, прогрессу и обновлению, соблюдению стойких принципов.

ПФ используются не только с тем, чтобы сформировать новые оценки товара в сознании реципиента за счёт возникновения ассоциативной связи рекламного сообщения с исходным ПФ, – они могут

выполнять иллюстративную функцию, привлекая внимание аудитории знакомой формой и вместе с тем помогая ёмко обозначить основную концепцию или свойства рекламируемого объекта. Например, в рекламе ресторана китайской и японской кухни 茶禅華 (サゼンカ) Sazenka (2020) в Токио основная концепция заведения выражена лозунгом 和魂漢才 вагон кансай «Японский дух, китайские знания» (ил. 5). Данное прецедентное высказывание приписывается Сугавара Митидзанэ (845–903) и подразумевает соединение японской культуры и достижений китайских наук⁷. Рекламодатели, однако, немного иначе интерпретируют идею заимствования искусств, технологий и философии Китая: концепция ресторана заключается в соединении китайской и японской кухни, в том, чтобы в процессе приготовления китайских блюд раскрыть их очарование красотой сервировки, а также представить лучшие образцы китайской и японской кухни, о чём лаконично сообщает прецедентное высказывание.



和の心を添えた繊細な中国料理。ひたむきに素材と対話した一皿が、ジャンルという概念を超える。

南麻布の閑静な住宅街にひっそりと店を構える中国料理店「茶禅華」。日本料理にも精通した川田氏が「和魂漢才」をコンセプトに創る一皿は、丁寧な仕込みから緻密な味付けまで、素材を最大限に生かす調理法を徹底する。和の心で昇華させた逸品は革新的でありながら滋味深く、中国料理の新たな一面を垣間見せてくれる。中国茶・台湾茶・日本茶など、風味豊かなお茶と料理のティーペアリングもまた、人々を魅了してやまない。



周辺のお店ランキング

広尾×中華料理のランキング
(点数の高いお店) です。



Ил. 5. Реклама ресторана 茶禅華 (サゼンカ).

Источник: <https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130703/13205298/>

Сферы-источники и национальное происхождение прецедентных феноменов в японской рекламе

В результате анализа было обнаружено, что в японской рекламе, нацеленной на японский рынок, преобладают феномены японской национальной культуры (62,04 %) – не только как понятные и близкие носителям культуры, но и как заряженные положительными коннотациями; ведь, как отмечает В. Е. Чернявская, зачастую для носителя культуры «свое» воспринимается как «правильное», как

⁷ Подробнее см.: Федянина В. А. Покровитель словесности и воплощение бодхисаттвы: Сугавара Митидзанэ и ранняя история культа Тэндзин (IX–XII вв.) [Федянина 2014, 28–31].

некий эталон, отражая ценностные установки социума [Чернявская 2006, 52]. Реципиент с большей вероятностью проявит отклик на рекламу, если персонажи и ситуации, выступающие контекстом рекламного сообщения, будут ему знакомы и понятны, значимы для него – ему будет проще идентифицировать себя с ними. Это, в свою очередь, формирует эмоциональный отклик, включая иные механизмы восприятия и оценки, нежели предоставление когнитивной информации, которое задействует рациональное восприятие.

В рекламных текстах, где вводятся народные приметы и персонажи национальных сказок, как, например, представленные ниже, демонстрируется отсылка к национально-прецедентным феноменам, конкретнее – фольклору, сказочным существам, которые выступают поддержкой и опорой, эталоном справедливости и прочих ценностных идеалов, или же магическим верованиям, наделяя, таким образом, рекламируемый объект через метафорический перенос положительными признаками подобно тому, как это происходило в магическом мировосприятии. Их включение в рекламные сообщения позволяет добавить эстетической и аксиологической значимости рекламируемому объекту; кроме того, можно проследить активацию механизма захвата внимания реципиента благодаря опоре на знакомые и с детства близкие сюжеты. «Обращение в рекламе к собственным национальным традициям, культурным ценностям и стереотипам поведения имеет цель воздействовать в основном на сферу бессознательного, тем самым максимально облегчив процесс понимания и усвоения информации. Погружение в “свою” этнокультурную среду всегда вызывает ассоциации с возвращением в собственное прошлое, поскольку опирается на аллюзии, связанные с уже состоявшимися артефактами духовной и материальной культуры своего народа» [Ежова 2009, 242].

Являясь в большинстве своем национально-прецедентными [Гудков 2003, 104], данные ПФ едва ли будут поняты и дешифрованы в полной мере носителем инокультуры, выполняя парольную функцию. Например, маловероятно, что иноязычный реципиент сможет понять значение отсылки к примете на рекламном плакате новогодней распродажи автомобилей Daihatsu 3–4 января 2012 года, связанной с первым сном в новом году с первого на второе января (по старому стилю со второго на третье января), а именно с благоприятными снами-символами, которые являются хорошей приметой, определяющей на будущий год судьбу человека (ил. 6):

1、富士	Ити, Фудзи	«1, Фудзи
2、シカ	Ни, сика	2, олень
3、エコカー	Сан, экака:	3, экоавтомобиль».



Ил. 6. Реклама Daihatsu. Источник: <http://kitacafe.studio-kitazaki.com/2012/01/1.html>

Традиционно в оригинальной версии данной приметы 一富士二鷹三茄子 благопожелательными символами являются «первое – гора Фудзи, второе – сокол, третье – баклажан», однако рекламный плакат изображает три благоприятных сна-символа в измененном виде. Появление образов оленя и автомобиля объясняется тем, что рекламный плакат представляет экоавтомобиль фирмы Daihatsu, в телевизионной рекламе которой объект рекламы презентует именно олень (в телевизионной рекламе автомобиля был создан каламбур, ведь слово *сика* «олень» созвучно слову *сикакуй* «четырёхугольный; угловатый», и таким образом в рекламе делается акцент на угловатый дизайн автомобиля).

В данном рекламном сообщении благодаря введению ПВ экоавтомобиль представлен как символ благосостояния, благополучия и счастья. ПВ трансформируется и обыгрывается в рекламном сообщении таким образом, чтобы выстроить ассоциативную связь между рекламируемым автомобилем и хорошей приметой. Требуется

фоновые знания для распознавания посыла, незнание приметы приведет к коммуникативной неудаче и не позволит расшифровать посыл сообщения. Пример иллюстрирует введение национально-прецедентного ПВ, выполняющего парольную, имиджевую, аттрактивную и экспрессивную (предполагает наделение объекта рекламы рядом новых положительных коннотаций, о чем говорилось выше) функции.

Говоря о сферах – источниках ПФ в японской рекламе отметим, что часто встречаются ПФ, относящиеся к полю «История» (27,77 %), на втором месте оказывается поле «Сказки» (12,96 %), затем – «Художественная литература и поэзия» (12 %) и «Изобразительное искусство (живопись)» (12 %).

Как уже указывалось, ПФ обладают большим объемом культурно-исторической информации, а потому выбор тех или иных феноменов отражает ценностные установки общества в определенный период времени. Тенденция к использованию в рекламных сообщениях ПФ, относящихся к полю «История», может говорить о том, что в рекламной коммуникации делается ставка на пассивизм и консерватизм японской аудитории.

Сказки и мифы выступают как части народной истории: в них представлены близкие, знакомые герои, обладающие положительными, социально одобряемыми качествами. Зачастую эти герои относятся к разряду волшебных существ, обладающих сверхвозможностями – примечателен тот факт, что японцы вводят в оборот не придуманных современных супергероев, но именно своих, знакомых с детства, имеющих единые корни с японцами.

Так, например, в рекламном видеоролике Pepsi Nex Zero (2015) воспроизводится сюжет сказки о Момотаро – родившемся из персика мальчишке-силаче. Слоган рекламной серии 自分より強いヤツを倒せ Дзибун-ёри цуёй яцу-о таосэ «Сокруши того, кто сильнее тебя» отражает общую эпическую и немного мрачную тональность видеоряда (ил. 7).

Образ самого Момотаро и других героев сказки актуализирует в сознании знакомый сюжет: они приходят на помощь людям, бросив вызов сильным и опасным демонам. Таким образом, связь между рекламируемым продуктом, сюжетами рекламы и сказки обнаруживается в идее, выраженной вторым слоганом – Forever challenge «Всегда бросай вызов», указывающим на обновления в линейке продукции: компания рискует и бросает вызов, создавая новый низкокалорийный напиток на основе стевии, который будет «стоять на страже» здоровья потребителя.



Ил. 7. Реклама Pepsi Nex Zero. Источник: <https://mag.sendenkaigi.com/senden/201501/2014-sendenkaigi-grand-prix/004027.php>

Национальное изобразительное искусство и живопись представлены известными ПИ и произведениями мастеров гравюры укиё-э Тосюсай Сяраку, Китагава Утамаро, Кацусика Хокусай, включенными в различные рекламные тексты.

Говоря о ПТ, отметим большое количество текстов, обращение к которым происходит семиотически (66,7 %), они занимают более половины всех проанализированных примеров употребления ПТ: введение отсылки к прецедентному тексту позволяет расширить повествование рекламного сообщения, дополняя его проблематикой, переживаниями и аргументами, оценками, представленными в исходном тексте. Как отмечает Ю. Н. Караулов, при семиотическом обращении исходный текст целиком либо его фрагменты включаются в процесс коммуникации [Караулов 2010, 218], что позволяет реципиенту обнаружить новые смыслы, оценивая ситуацию на основе более широкого контекста, поставить реальную ситуацию в один ряд с культурно значимой эталонной ситуацией или явлением.

Так, реклама холодильников Panasonic построена на визуальной метафоре, являющейся отсылкой к гравюре укиё-э Кацусика

Хокусай «Большая волна в заливе Канагава» из серии «36 видов Фудзи» (ил. 8). Визуальная метафора создает добавочный смысл, вызывая ассоциации со свежим морским бризом: холодильник поможет сохранить свежесть, пользу и красоту овощей; кроме того, актуализировано дополнительное значение – высокий уровень технологий Panasonic уподобляется шедевру мастера японской гравюры. По-японски китайская капуста, заменяющая на рекламном плакате волну, называется «хакусай»; таким образом, эффект усиливается аллюзией на имя знаменитого искусного художника.



Ил. 8. Реклама Panasonic. Источник: <https://www.pinterest.ru/pin/548735535825967694/>

Вторичное обращение рассматривается как трансформация текста в другой вид искусства, или «вторичные размышления по поводу исходного текста» [Караулов 2010, 218]. В данном исследовании к категории вторичного обращения отнесены случаи введения в рекламное сообщение изображения картины или гравюры в измененном виде, не имеющего, однако, цели отослать реципиента к некоей ПС или указать на социокультурный феномен. Среди текстов таких примеров немного (14,5 %), так же как и примеров натурального обращения (18,5 %), когда прецедентный текст представлен без изменений: это может говорить о том, что первоочередная цель использования ПТ в рекламных сообщениях – расширить и обогатить семантику принимающего текста.

Пример вторичного обращения представлен в рекламе витаминных комплексов на основе корбикура производителя Sizenshokken: использован прецедентный текст (гравюра «Актёр Отани Онидзи третий в роли слуги Эдохея»), выраженный через апеллирующий к работе гравёра Тосюсай Сяраку иконический знак (ил. 9). Реципиенту представлен актер, трансформированное изображение которого ложится в основу рекламного сообщения: выражением лица и жестом (поднятие большого пальца руки) он выражает одобрение продукции; таким образом, непосредственная связь с оригиналом исчезает. В данном случае ПФ переходит в другой тип искусства, и для понимания посыла рекламного сообщения оказываются нерелевантными ни автор, ни его модель.



Ил. 9. Реклама Sizenshokken. Источник: снимок экрана с баннерной рекламы Sizenshokken

Приведенные выше образцы, во-первых, позволяют наглядно сопоставить разные типы обращения ПФ, относящихся к одной и той же сфере-источнику. Во-вторых, в ходе анализа было отмечено, что национально-прецедентные ПФ из сферы-источника «Изобразительное искусство» (на их долю приходится порядка 53 %) выполняют ряд функций в отношении рекламируемой отечественной продукции – смыслопорождения, имиджевую и эстетическую функции, персуазивную, выступая средством характеристики, – в отличие от феноменов зарубежного происхождения, в непосредственной характеристике товара не участвующих.

По мнению Г. Г. Слышкина и М. А. Ефремовой [Слышкин, Ефремова 2004, 45], «прецедентный текст может включать в себя помимо вербального компонента изображение или видеоряд (плакат,

комикс, фильм)», то есть знаки, принадлежащие к иным семиотическим системам, что, на наш взгляд, во-первых, роднит данное понятие с рекламой, представляющей собой состоящий из знаков разных семиотических систем – креолизированный – текст [Анисимова 2003, 27]; во-вторых, такая точка зрения позволяет трактовать понятие «текст» широко, вслед за Ю. М. Лотманом рассматривая культуру в целом как текст [Лотман 2000, 73], и анализировать в рекламе примеры обращения к прецедентным текстам, выраженным гравюрами.

Заключение

Проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов о тех идеях, которые японцы стремятся транслировать посредством рекламы.

ПФ могут функционировать в текстах рекламы как когнитивная модель, активирующая культурно значимые паттерны поведения, ценностные установки целого пласта социума. Создатели японских рекламных сообщений, включая в цитирующий текст совпадающие по эмоциональной направленности прецедентные тексты, предпочитают опираться на существующие концепты, нежели оспаривать и опровергать их, создавая контрасты. Обращение к значительной части прецедентных текстов и высказываний, включенных в рекламные тексты, происходит семиотически – это говорит о том, что прецедентные тексты и высказывания, включаемые в рекламу, носят в основном символический характер: происходит сопоставление рекламной ситуации с культурно значимой эталонной ситуацией, что позволяет реципиенту обнаружить в рекламном тексте дополнительные смыслы, насыщая его новыми коннотациями; происходит «расширение “горизонтов” текста, осознание “культурного шлейфа” текста, формирование максимально возможного числа самых разнообразных связей и отношений, что свойственно “диалогу культур”» [Панова, Шумакова 2019, 360].

Можно предположить, что предпочтительное включение в рекламные тексты ПФ своей культуры проистекает не только из тенденции позиционировать «свое» как нечто положительное, но и потому, что ПФ выполняют парольную функцию – особенно это касается национально-прецедентных ПФ, которые обладают познавательной и культурной ценностью для ограниченной группы; тем самым производится идентификация реципиента. Знакомство с ПФ и его введение в рекламный текст позволяют сделать повествование ближе

реципиенту, выступая стимулом для того, чтобы ознакомиться с содержанием и принять его как «старого знакомого».

Вместе с полями «Фольклор, мифология», «Сказки», «Художественная литература и поэзия» и «Афоризмы и крылатые выражения» группа национальных (японских) текстов сохраняет за собой второе место, уступая ПФ, берущим свое начало из полей «История» и «История и политика»; эти данные отличают японскую рекламу от более «литературоцентричной» российской рекламы [Кушнерук 2006, 195].

Во введении сюжетов и героев сказок и мифов в современные рекламные тексты проявляются преемственность и «живучесть» традиционных народных мотивов, подвергнувшихся, однако, небольшой редактуре в рекламе. Трансформации текстов сказок или хронотопа исторических событий позволяют превратить повествование в захватывающий сериал, привлекающий аудиторию трагическими или комическими перипетиями сюжета.

Однако отношение японской аудитории к традиционным сказочным героям, как и историческим личностям, скорее, положительное, можно говорить о позитивном и уважительном отношении японцев к своей истории, ее «славному прошлому», трактовке правителей древности как народных, эпических героев: даже юмор в отношении исторических лиц в рекламе не является оскорбительным и не ставит своей целью их высмеять. Японской рекламе в этом отношении свойственно привлечение тех языковых средств, которые отражают социально одобряемые характеристики.

Подобные тенденции позволяют говорить о стремлении посредством рекламных текстов транслировать идеи национальной целостности, значимости, подчеркивая преемственность и наличие единых корней с историческими, политическими великими деятелями прошлого. Также можно отметить склонность романтизировать историческое прошлое, которое также часто становится лейтмотивом и темой произведений современной культуры – телесериалов, аниме и манга. Более того, можно сделать предварительный вывод о том, что современные японцы осознают и подчеркивают свое бытие как единой мононациональной страны, свою причастность к творцам истории страны от момента ее зарождения и по сей день.

Все это, кроме того, помогает представить рекламируемый объект в выгодном свете, наделяя его указанными сильными сторонами, формируя идею «великая нация создает великие вещи».

Реклама предлагает «простой способ» включиться в коммуникацию со знакомыми, близкими героями, приобщиться к некоей

единой народной «мудрости», к самобытности. Возможно, склонность включать исторических, сказочных и мифологических персонажей в современные рекламные тексты является отражением коллективизма высококонтекстной культуры, члены которой не только позиционируют себя представителями современной державы на мировой арене, но и осознают себя как нацию, сумевшую найти опору «внутри себя», стремясь подчеркнуть преемственность и свою тесную связь с общим прошлым.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Анисимова 2003 – *Анисимова Е. Е.* Лингвистика текста и межкультурная коммуникация (на материале креолизованных текстов). М. : Академия, 2003. 124 с.
- Бодрийяр 2006 – *Бодрийяр Ж.* Общество потребления. Его мифы и структуры / пер. с фр. Е. А. Самарской. М. : Республика, 2006. 270 с.
- Волкова, Кабаньян 2020 – *Волкова Р. А., Кабаньян Б. С.* Прагматический потенциал прецедентных феноменов в рекламной коммуникации // *Филологические науки. Вопросы теории и практики.* 2020. Т. 13, вып. 4. С. 105–108.
- Гудков 1998 – *Гудков Д. Б.* Прецедентное имя в когнитивной базе современного русского (результаты эксперимента) // *Язык, сознание, коммуникация : сб. ст. / ред. В. В. Красных, А. И. Изотов. М. : Филология, 1998. Вып. 4. С. 82–93.*
- Гудков 2003 – *Гудков Д. Б.* Теория и практика межкультурной коммуникации. М. : Гнозис, 2003.
- Ежова 2009 – *Ежова Е. Н.* «Свое» и «чужое» в рекламной картине мира // *Вестник Пятигорского государственного университета.* 2009. № 3. С. 241–246.
- Захаренко и др. 1997 – *Захаренко И. В., Красных В. В., Гудков Д. Б., Багаева Д. В.* Прецедентное имя и прецедентное высказывание как символы прецедентных феноменов // *Язык, сознание, коммуникация : сб. ст. / ред. В. В. Красных, А. И. Изотов. М. : Филология, 1997. Вып. 1. С. 82–103.*
- Караулов 2010 – *Караулов Ю. Н.* Русский язык и языковая личность. М. : Изд-во ЛКИ, 2010. 264 с.
- Кушнерук 2006 – *Кушнерук С. Л.* Сопоставительное исследование прецедентных имён в российской и американской рекламе : дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2006. 218 с.

- Лотман 2000 – Лотман Ю. М. Семиосфера. Культура и взрыв. Внутри мыслящих миров. Статьи. Исследования. Заметки. СПб. : Искусство-СПБ, 2000. 704 с.
- Мозгунова 2020 – Мозгунова А. Д. Функционирование прецедентных имен в японской рекламе // Знание. Понимание. Умение. 2020. № 2. С. 194–199.
- Панова, Шумакова 2019 – Панова Е., Шумакова Е. Прецедентность в эпоху мультимедийной коммуникации // Przegląd Wschodnioeuropejski. 2019. Т. 10. № 1. С. 357–369.
- Слышкин, Ефремова 2004 – Слышкин Г. Г., Ефремова М. А. Кинотекст (опыт лингвокультурологического анализа). М. : Водолей Publishers, 2004. 153 с.
- Стародубова 2019 – Стародубова О. Ю. Прецедентный текст в публицистическом дискурсе как механизм реализации аутентичной авторской модальности // Знак: проблемное поле медиаобразования. 2019. № 2 (32). С. 73–83.
- Терских 2017 – Терских М. В. Инструменты интертекстуальности в дискурсе социальной рекламы // Научный диалог. 2017. № 9. С. 69–80.
- Федянина 2014 – Федянина В. А. Покровитель словесности и воплощение бодхисаттвы: Сугавара Митидзанэ и ранняя история культа Тэндзин (IX–XII вв.). М. : Кругъ, 2014. 311 с. (Новые исследования по японской культуре; кн. 1).
- Чернявская 2006 – Чернявская В. Е. Дискурс власти и власть дискурса: проблемы речевого воздействия: уч. пособие. М. : Флинта : Наука, 2006. 136 с.
- Эко 1998 – Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию / пер. с итал. А. Г. Погоняйло, В. Г. Резник. СПб. : Петрополис, 1998. 432 с.
- New dictionary – New dictionary of collocations-yojijukugo. Sanseido: // Goo dictionary. URL: <https://dictionary.goo.ne.jp/word/風林火山/> (accessed: 09.10.2020).
- Prieler 2007 – Prieler M. Specialties of Japanese television advertising // Minikomi. 2007. № 76. P. 32–37. URL: https://www.researchgate.net/publication/264556184_Specialties_of_Japanese_television_advertising (accessed: 15.01.2020).
- Shinohara 1999 – Shinohara M. Eco's spacetime of sign (adventurers of contemporary philosophy). Kodansha, 1999.

Материал поступил в редакцию 30.12.2020

Материал поступил в редакцию после рецензирования 03.07.2021

ВИЗУАЛЬНЫЕ МЕДИА XVIII ВЕКА: БАЛЕТ «НОВЫЕ АРГОНАВТЫ» И ПРАЗДНОВАНИЕ ЧЕСМЕНСКОЙ ПОБЕДЫ В 1770 ГОДУ

Л. В. Никифорова

Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой,
Санкт-Петербург, Россия
nikiforova_lv@list.ru

Балет «Новые Аргонавты» Гаспаро Анджелини, показанный 24 сентября 1770 года в Петербурге, завершил череду торжеств, в которых благодарственные молебны, торжественные приемы и награждения по случаю Чесменской победы плавно перетекали в празднования годовщины коронации Екатерины II и дня рождения великого князя Павла Петровича.

Балет, в котором было показано, как Петр Первый и Минерва (то есть Екатерина II) вдохновляли российских моряков в сражении с турецким флотом, завершался аллегорическими картинами. Он подвел итог providенциальному совпадению «царских» дней и только что полученных известий о грандиозной победе.

Спектакль важен прежде всего не своей аллегорической рамкой, а документальным сюжетом, позволяющим рассматривать его как часть истории визуальных медиа. Обычно спектакли «по случаю», каким было представление балета «Новые аргонавты», трактовали текущие события на языке аллегорий. «Новые аргонавты» – редкая попытка передать документальный рассказ о главном событии в форме движущейся картины.

Традиционно в это время новости узнавали, читая или слушая. В балете, судя по сохранившейся программе, были показаны Чесменское сражение и уничтожение турецкого флота средствами театральной машинерии и пантомимы. Текст программы балета (в ее документальной части) основан на реляциях о победе, полученных в сентябре 1770 года от маркиза Кавалькабо, поверенного на Мальте, и от главнокомандующего графа А. Орлова и опубликованных в «Прибавлениях к Санкт-Петербургским ведомостям» 7 и 17 сентября 1770 года.

Спектакль стал своего рода выпуском новостей, приправленным лирическим сюжетом о братской привязанности Язона и Премака, в которых зритель без труда узнавал главнокомандующего Алексея Орлова и его брата Федора Орлова. Этот сюжет также почерпнут из донесений о битве.

Проанализированный пример показывает извилистые пути становления медиа как технически опосредованной коммуникации и одновременно технически опосредованных способов видения. Представленный кейс дополняет историю и археологию медиа на российском материале. Такие исследования пока сравнительно немногочисленны и охватывают «классические» объекты типа камеры-обскуры, волшебного фонаря, панорам, диорам, то есть примеряют европейские траектории к российской почве.

«Новые аргонавты», возможно, демонстрируют культурно-специфический формат общего процесса. Кентавр-явление, сочетающее традиционные театральные технологии и новую интенцию к репортажности, позволяет ставить вопрос о других подобных сюжетах в истории визуального опыта и технологий.

Ключевые слова: визуальные медиа, ранние оптические зрелища, балет «Новые аргонавты», Чесменская победа.

EIGHTEENTH-CENTURY VISUAL MEDIA: THE NEW ARGONAUTS BALLET AND THE CELEBRATION OF THE CHESME VICTORY IN 1770

Larisa V. Nikiforova

Vaganova Ballet Academy, Saint Petersburg, Russia

nikiforova_lv@list.ru

The New Argonauts ballet by Gasparo Angiolini was performed in St. Petersburg on September 24, 1770. It finalized a series of celebrations, including thanksgiving prayers, receptions and awards on the occasion of the Chesme victory, as well as celebrations of the anniversary of Catherine II's coronation and the birthday of Grand Duke Pavel Petrovich. The ballet, which literally showed how Peter the Great and Minerva (referring to Catherine II) inspired Russian sailors in the battle against the Turkish fleet, concluded with allegorical scenes. It summed up the providential coincidence of the "tsar" days and the news of the grand victory that had just been received. The performance is important, above all, not because of its allegorical frame, but because of its documentary plot. We can see the ballet as a part of the history of visual media. Usually performances "on the occasion," such as the one-time performance of *The New Argonauts*, interpret current events in the language of allegory. *The New Argonauts* is a rare attempt to present the documentary story of a major event into a visual form. Traditionally at this time news was learned by reading or by ear. The ballet, judging by the surviving program, showed the Battle of Chesme and the destruction of the Turkish fleet by means of theatrical machinery. The text of the program (in its documentary part) is based on the victory reports from Marquis Cavalcabo, envoy to Malta, and from the Commander-in-Chief Count Alexei Orlov that had been published in the *Supplement to the Newspaper Sanktpeterburgskie Vedomosti* on September 7 and 17, 1770. The performance became a kind of a newscast, "seasoned" with a lyrical plot about the brotherly affection of Yazon and Promak, in whom the audience easily recognized the commander-in-chief Alexei Orlov and his brother Fyodor Orlov; this plot is also drawn from the battle reports. This case shows the complexity of the formation of media as technically mediated communication and technically

mediated ways of seeing. It expands the history and archaeology of media in the Russian context. There are few studies in this field and they cover “classical” objects like camera obscura, magic lantern, panoramas and dioramas, i.e. they try European trajectories on our soil. *The New Argonauts*, perhaps, demonstrates a culturally specific format of the overall process. The “centaur phenomenon,” which combines traditional theatrical techniques with a new intention of reportage, allows raising the question about other similar subjects in the history of visual experience and technology.

Keywords: visual media, early optical performances, New Argonauts ballet, Chesme victory.

DOI 10.23951/2312-7899-2022-2-136-156

Введение

Пантомимно-аллегорический балет «Новые аргонавты», посвященный победе русского флота при острове Хиос, был показан публике 24 сентября 1770 года в Петербурге. Спектакль упоминается во многих трудах по истории русского балета, во-первых, как одна из работ знаменитого хореографа Гаспаро Анджелини, а во-вторых, как отправная точка становления национальной тематики на балетной сцене. Но в оценках самого балета исследователи осторожны, что и не удивительно. Это было довольно странное зрелище – выпуск новостей по горячим следам событий с пантомимой и пиротехникой.

Цель статьи – показать театральный спектакль, одно из событий празднования Чесменской победы в сентябре 1770 года в Петербурге, как эпизод истории визуальных медиа.

Задачи статьи: проанализировать содержание спектакля в контексте новостей о победах времен русско-турецкой войны 1768–1774 годов и показать его функции в календаре празднования Чесменской победы в сентябре 1770 года; сопоставить спектакль с современными ему формами распространения новостей, в том числе новыми оптическими зрелищами дофотографической эпохи. Кроме того, в статье анализируется живописная аллегория Г. Бухгольца из коллекции Государственного Эрмитажа, судя по всему, вдохновленная самим балетом или его программой, чтобы дополнить известную идею о театрализации изобразительного языка XVIII века редким в российском контексте примером оглядки конкретной картины на конкретный спектакль.

Методологически исследование опирается на археологию медиа. Особенно важны идеи З. Цилински о «глубинной истории» медиа, В. Беньямина о конкуренции старых и новых медиа, Э. Хухтамо и Дж. Крери об эмансипации взгляда в эпоху новых оптических зрелищ, мысли С. Каплана, Ф. Китлера, М. Эллиса о новых оптических спектаклях как иммерсивном опыте и прямых предшественниках технических искусств и визуальных СМИ. Сравнительный анализ программы балета и аллегорической картины Г. Бухгольца опирается на визуальные исследования и семиотику визуальности, ставящие вопросы интермедialности, в особенности между театром и изобразительным искусством раннего Нового времени (П. Франкастель, Ю. М. Лотман).

Новизна предлагаемого материала заключается в самой постановке вопроса, в контекстах, привлеченных для анализа балета «Новые аргонавты», а также в использованных документах, с которыми никто ранее программу балета не сопоставлял (сообщения в газете «Санкт-Петербургские ведомости» и Камер-фурьерском журнале за сентябрь 1770 года). Впервые обнаружена взаимосвязь между текстом балетной программы и живописной аллегорией Г. Бухгольца.

Гипотеза исследования заключается в том, что «Новые аргонавты» являются частью не только истории балета и придворной культуры, но также ранних визуальных медиа. Рассматриваемый в этом качестве спектакль дает нам гораздо больше информации о своей эпохе и позволяет расширить спектр исследовательских сюжетов в российской археологии медиа.

Балет «Новые аргонавты» как репортаж: от аллегорического кода к документальному

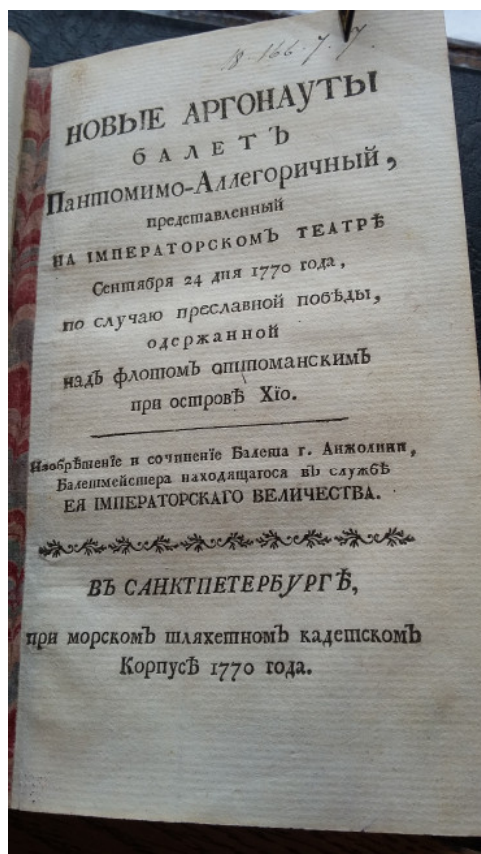
Одна из существенных характеристик театра раннего Нового времени – превращение его в инструмент репрезентации власти и политической пропаганды, и в этом смысле в форму официального медиа. Для России, усваивавшей театральный опыт в формате европеизации, это чрезвычайно существенно. Между тем и репрезентация власти, и «воспитание чувств» театром, в том числе реакция на реальные и актуальные ситуации и события, чем виртуозно занималась Екатерина II, происходили на языке аллегорий и аналогий¹. Аллегорический и эмблематический код отличал и спектакли «по

¹ Среди последних исследований о театральных формах репрезентации власти и разрешения конфликтов внутри придворного общества: [Зорин 2018, 61–138; Корндорф 2011, 177–253; Evstratov 2016].

случаю» – однократные постановки, приуроченные к торжествам и победам. Так, в честь победы при Кунсдорфе в 1759 году в ходе Семилетней войны в уже готовый спектакль ко дню тезоименитства Елизаветы была введена фигура Марса, который вместе с другими олимпийскими богами славил императрицу, а декорацию дополнили храмом Славы [Корндорф 2013]. В балете по случаю привития оспы Екатерине II и Павлу Петровичу (Г. Анджолини, 28 ноября 1768 года), Дух учения сражался с Суеверием и Невежеством, «готическое» здание которого охраняла Химера. О прививке от оспы сообщало лишь длинное название спектакля, на сцене же Минерва потрясала копьем, побеждала Химеру и обнимала Россию [Анджолини 1768].

«Новые аргонавты» Гаспаро Анджолини – типичный спектакль «по случаю», который, однако, решен иначе. Несмотря на участие аллегорических персонажей, главное его содержание – документальный рассказ о событии. Благодаря сохранившейся программе балета мы можем его представить (ил. 1). Спектакль открывался видом Чесменской бухты, разыгрывались преследование турецкого флота девятью русскими кораблями и бой с пожаром на турецком флагманском корабле. Горящая мачта «начальникова турецкого корабля» [Анджолини 1770, 9] поджигала русский «Святой Евстафий», тот взрывался, а за ним один за другим горели турецкие корабли, и, «наконец, вся сила вражья в пепел обращается» [Анджолини 1770, 10]. Затем начиналось чествование победителей. Появлялись собственно «аргонавты» – группа воинов во главе с Северным Ясоном (Алексеем Орловым), который освобождал христианских пленников и демонстрировал «мужественную радость», но одновременно скорбь, поскольку не знал о судьбе тех, кто находился перед взрывом на «Святом Евстафий», в том числе и о родном брате Премаке (Федор Орлов) [Анджолини 1770, 10]. На ботике Петра появлялся Нептун со свитой. Заметив печаль Ясона, он уверял, что брат его и другие моряки живы и скоро будут здесь. Вдохновляя на новые сражения, Нептун показывал Ясону эмблематическую картину – Оттоманская порта в виде многоглавой гидры держит закованными в цепи Европу, Азию, Африку [Анджолини 1770, 12]. Наконец, из глубины сцены приближалась шлюпка, которая, «пристав к пристани, выпускала на берег Премака» [Анджолини 1770, 12]. После обоюдных «слез душевной радости» Нептун венчал российского Ясона и моряков лавровыми венками, Вечность записывала в книгу бессмертия славу Российского флота, а освобожденные греки и гречанки «танцами изъясляли благополучие свое» [Анджолини 1770, 12–13]. В финале

на сцене сменяли друг друга эмблематические картины – роstralь-ный столп, триумфальная пирамида, увенчанная орлом российским, девизы и вензели Петра Первого, Екатерины II и «великого российского флота адмирала» Павла Петровича [Анджолони 1770, 13–14].



Ил. 1. Титульный лист программы балета «Новые аргонавты» 1770.
Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург [Анджолони 1770, 1]

Итак, за вычетом аллегорических персонажей, на сцене был реконструирован ход Чесменского сражения. А. А. Гозенпуд высказал сомнение в возможности исполнения этой части программы – изобразить на сцене бой невозможно [Гозенпуд 1959, 216]. Однако некоторые сохранившиеся до наших дней «машины волн», например в театре Дротнинхольма (Швеция), создают вполне впечатляющую иллюзию бурного моря и движущихся кораблей, хотя, конечно, в уменьшенном масштабе и с определенной долей условности².

² Подробнее о принципах действия «машины волн»: [Корндорф 2011, 564–567].

Что же касается огня и взрывов, то в балетах часто использовали огонь и дым, в финале балетов обычно рушились окутанные пламенем и дымом дворцы³.

Согласно Камер-фурьерскому журналу, «Новые Аргонавты» представляли не в самом Оперном доме Зимнего дворца, который с 1763 до 1784 года находился в юго-западном ризалите [Пиотровский 1989, 98–99], а на улице, «на сделанном при театре за оркестром месте» [Церемониальный 1856, 232–233], – судя по всему, со стороны канала, разделявшего Зимний дворец и Адмиралтейство. Возможно, описание боя в программе подробнее и детальнее, чем то, что происходило на сцене, но что-то все же было показано, иначе зачем выносить представление на улицу.

В ходе русско-турецких войн конца XVIII века было еще несколько примеров спектаклей – откликов на недавние события. Но трудно судить, в какой степени они документальны. О сюжете балета «Взятие Очакова» (постановка Франца Морелли, 9 февраля 1792 г., Петровский театр в Москве) [Гардзонио 1999, 245] – спустя четыре года после события – неизвестно ничего. Ю. А. Бахрушин полагал, что «конкретность и реалистичность его названия говорят сами за себя и заставляют думать, что этот балет отличался от аллегорических “Новых аргонавтов”, поставленных в Петербурге» [Бахрушин 1965, 39]. Но за аллегорическим названием балета Анджелини скрывалась как раз вполне документальная попытка реконструкции морского боя. Опера «Зельмира и Смелон, или Взятие Измаила» (22 июля 1795 года, музыка О. А. Козловского, либретто по лирической драме П. С. Потемкина) представляла любовную историю турчанки и русского воина. Взятие крепости происходило за сценой, зритель слышал звуки боя, вестники рассказывали, что происходит на стенах крепости, но зритель видел типичную сценографическую условность – городскую площадь или дворцовый зал [Потемкин 1795]. К гораздо большей документальности стремились при праздновании Кучук-Карнаджийского мира в июле 1775 года, когда Ходынское поле в Москве было превращено в карту Черноморского побережья с Крымским полуостровом, реками Доном и Днепром, крепостями Азовом, Таганрогом, Кинбурном, Керчью, Еникале [Екатерина II 1880, 30, 45, 48–49].

³ Н. И. Греч вспоминал свое первое посещение театра в 1794 году, давали русскую комедию и балет: «...при фейерверке, которым заканчивался балет, я забрался под скамью ложи» [Греч 1930, 110]. Подробнее о такого рода сценических эффектах: [Корндорф 2011].

Балет как новость: хроника событий сентября 1770 года в Петербурге

Документальность в театре раннего Нового времени – исключение, а не правило. Поэтому уместно поместить балет «Новые аргонавты» в иной контекст – не собственно театральный, а новостной, и разобраться с тем, как и когда узнавали и оповещали публику о военных победах в эпоху русско-турецкой войны 1768–1774 годов. Сегодня мы узнаем о событиях буквально в режиме реального времени, но в XVIII веке новость добиралась до столицы долго. Так, о битве при Хотине 29 августа 1769 года в Петербурге узнали через 11 дней: 9 сентября 1769 года в Зимний дворец прибыл майор Бибиков с первым известием, а 10 сентября князь Владимир Голицын с «обстоятельной реляцией» [Церемониальный 1856, 181–182]. О победе при Ларге (7 июля 1770) узнали спустя две недели: 20 июля 1770 полковник фон Каульбарс доставил в Петергоф победную реляцию [Церемониальный 1856, 161–162]. О победе при Кагуле (21 июля 1770) – через 10 дней, 1 августа бригадир Озеров доставил известия в Петербург [Церемониальный 1856, 171–172]. Реляцию о взятии Килии 21 августа 1770 доставили в Петербург спустя две недели – 5 сентября 1770 года [Церемониальный 1856, 200–201]. Но весть о Чесменской победе шла особенно долго.

Чесменский бой состоялся в ночь с 25 на 26 июня 1770 года⁴, но известия о победе достигли Петербурга только к началу сентября. Только 7 сентября 1770 года (спустя более чем два месяца) последовало первое официальное сообщение – в Приложении к Санкт-Петербургским ведомостям опубликован отчет от поверенного в делах на Мальте маркиза Кавалькабо «со слов англичан, корабельных капитанов, находящихся на службе нашего флота» [Кавалькабо 1770]⁵. Но ждали «прямого известия» [Екатерина II 1874, 38] от российского главнокомандующего. Победная реляция графа Алексея Орлова получена 13 сентября, и на 14 назначен благодарственный молебен в Морской церкви (Никольский морской собор) и разосланы повестки придворным [Церемониальный 1856, 207]. 13 сентября также было отдано высочайшее распоряжение раздать деньги женам и детям «морских служителей, находящихся в Средиземном

⁴ Здесь и далее даты приводятся по ст. стилю – ЛН.

⁵ В высочайшем рескрипте графу А. Г. Орлову от 22.09.1770 подтверждается, что донесение маркиза Кавалькабо было первым известием о победе: «Велико было наше удовольствие, когда из Мальты получили мы первое известие о знатном на море бое под предводительством Вашим...» [Материалы 1886, 572].

море», на немалую сумму в 5 000 рублей [Материалы 1886, 568–569]. 14 сентября 1770 года датировано черновое письмо Екатерины Вольтеру с сообщением о Чесменской победе (отправлено 16 сентября) [Екатерина II 1874, 38–42]. 15 сентября состоялась панихида по Петру I в Петропавловском соборе с преклонением к его гробнице трофейных знамен [Церемониальный 1856, 210–213]. 17 сентября опубликована реляция А. Орлова [Орлов 1770]. 19 сентября дан церемониальный обед в Адмиралтействе, во время которого палили из пушек, а на Неве стояли четыре иллюминированные яхты и два фрегата [Церемониальный 1856, 215–219].

Далее последовали два торжественных дня с приемами в Зимнем дворце: день рождения его императорского высочества 20 сентября и годовщина коронации Екатерины II 22 сентября [Церемониальный 1856, 214, 219–229]. В тот же день (22 сентября) мимо Зимнего дворца по Неве из Лахты к Сенатской площади везли Гром-камень – каменную глыбу для основания памятнику Петру на Сенатской площади [Бакмейстер 1786, 32]. Очевидно, дата была выбрана неслучайно, и в годовщину коронации Екатерина наблюдала за транспортировкой постамента к памятнику, призванному придать монументальную форму риторическим параллелям между петровским и екатерининским царствованиями. 22 сентября последовали рескрипты о награждении графа А. Г. Орлова орденом Св. Георгия 1-й степени, о возведении в кавалеры ордена Андрея Первозванного адмирала Г. А. Спиридова и о пожаловании ему деревень, о присвоении Ф. Г. Орлову чина генерал-поручика и награждении орденом Св. Георгия 2-й степени [Материалы 1886, 573–574]. 23 сентября подписан указ о даровании Алексею Орлову материальных и символических знаков отличия (земель и душ) и права поднимать кайзер-флаг, а также указ Адмиралтейству о наградах разным морским чинам [Материалы 1886, 574]. В тот же день учреждена медаль для нижних чинов «В память сожжения при Чесме турецкого флота» [О пожаловании 1830]. А 24 сентября 1770 года двор смотрел новосочиненный русский балет («Новые аргонавты») и французскую комедию [Церемониальный 1856, 232–233]. Балет, сочетавший себе аллегорическую программу репрезентации власти и по возможности документальное изображение недавних событий, как кажется, стал своего рода точкой над *i* – над провиденциальным совпадением царских дней и только что полученных известий о грандиозной победе.

Текст программы балета, в особенности сцен боя и чествования победителей, прямо следует текстам победных реляций. Девять

кораблей «новых северных аргонавтов» попали в программу из сообщения Кавалькабо (у Орлова описание более пространное, а у Кавалькабо в первых строчках «9 линейных кораблей и 5 малых судов»); рассказ, как «Святой Евстафий» загорелся от упавшей на него горячей мачты турецкого корабля, сообщается в обоих документах. О том, что в момент, когда корабль загорелся, адмирал Спиридов вместе с Ф. А. Орловым и «с прочими» спасся в шлюпках – из Кавалькабо. Из реляции Орлова – как он «обрадован был известием, полученным о спасшихся с корабля Евстафия, между которыми Адмирал, капитан и брат его Федор Григорьевич Орлов находился». Есть и практически лексические совпадения. В программе описываются «преужасный треск» и «прелютый пожар», у Кавалькабо и Орлова – «престрашный» и «преужасный» огонь из пушек и ружей. В программе, как и в реляциях, неприятельские корабли «один по одному загорались». Есть, конечно, и расхождения, которые понадобились, чтобы придать представлению необходимую прямолинейность. Так, программа сообщает, как скоро турки «робеют», видя, что лишились флагманского корабля. В реляциях же турки описаны отчаянно сопротивляющимися. В программе балета турки на берегу «создают малое укрытие (батарею) и ставят на оное пушки», – в реальности батарея с 22 пушками была весьма внушительных размеров [Анджолони 1770; Кавалькабо 1770; Орлов 1770].

Мне не известен другой случай, когда программа балета была бы написана как резюме газетных новостей. Но главное другое: «Новые аргонавты» – это редкий для своего времени пример документальной и динамической визуализации по горячим следам исключительно важного события. Исторически быстрая визуализация политической информации связана с картами и планами сражений, топографическими фиксациями церемониалов; гравюры и картины с изображением битв, коронаций и других событий, рельефы на памятниках монархов создавались обычно спустя какое-то, иногда долгое, время. Спектакль «Новые аргонавты», поставленный спустя две недели после получения первого известия о победе, строился по визуальной модели живописной баталии – битва на дальнем плане, стаффажные сцены на первом (сначала турки радовались скорой победе, а христианские пленники печалились, затем наоборот). Но «картина» двигалась.

Сегодня мы привыкли к новостям в формате движущегося изображения. Человек XVIII века узнавал новости, читая или слушая. Так, победные реляции обязательно зачитывали вслух во время

благодарственных молебнов, которые назначали на следующий день после получения реляции. В 1770 году роль чтеца нередко доверялась главе театральной дирекции И. П. Елагину. Так было и 14 сентября 1770 года. Визуализация же новостей, да еще в формате движущейся картинки, была делом новым и неожиданным. В этом плане балет «Новые аргонавты» – часть истории медиа, и он ближе к протокинематографическим зрелищам, нежели к искусству хореографии.

Новости как сюжеты новых оптических зрелищ

В истории балета «Новые аргонавты» выглядят странным исключением, однако ситуация будет выглядеть иначе, если посмотреть на нее из перспективы новых оптических зрелищ. Вслед за изобретением панорамы Ричардом Баркером в 1787 году визуальный опыт встретился со многими новыми зрелищами, которые опирались на опыт живописи, театральной декорации с ее сменой картин и механическими перемещениями объектов и ранних визуальных медиа типа волшебного фонаря. Фантаскоп, эйдофузикон, эйдоранион, косморама, панорама, диорама, циклорама, георама представляли движущиеся или статичные картины со сменяющимися световыми и звуковыми эффектами. Исследователи визуальных медиа рассматривают их, и особенно панорамы, широко распространенные 1820–1840-х годах, как родоначальников массовых зрелищ индустриальной эпохи, непосредственных предшественников новых технических искусств – фотографии и кино [Ellis 2008, 134–135]. Э. Хухтамо определяет панорамы как пространство эмансипации взгляда, стирания границ между локальным существованием и глобальным видением. Зрители панорам превращались в «граждан мира», свободно пересекающих территориальные и временные границы [Huhtamo 2013, 5].

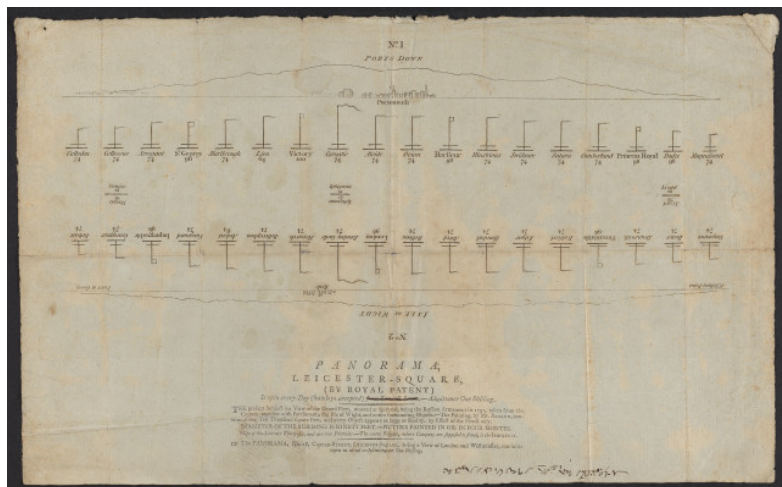
Среди сюжетов новых оптических зрелищ были востребованы сцены морских катастроф и сражений. Так, одним из самых сенсационных эпизодов в «Эйдофусиконе» Ф. де Лутебурга стал «Шторм на море с гибелью корабля “Халсуэлл”». Представление 1791 года показывало реальную катастрофу, случившуюся в 1786 году и потрясшую Великобританию [Ямпольский 2004, 28–29; Boase 1959, 337]. Именно эту сцену попытались реконструировать современные

исследовали археологии медиа, чтобы понять принцип действия Эйдофузикона, и использовали в ней уменьшенную машину волн [McCalman 2015]. Семье адмирала Родни, командовавшего сражением у острова Всех Святых 12 апреля 1782 года (эпизод Войны за независимость в Северной Америке), принадлежала настольная диорама по гравюре Ричарда Патона на этот сюжет [Diographic model 1782] (ил. 2). Панорама Роберта Баркера 1793 года изображала Британский королевский флот в Спитхедде, готовый к отплытию в Балтийское море (эпизод «восточного кризиса» 1791 года, когда Англия готовилась объявить войну России, не уступавшей британскому дипломатическому давлению по условиям русско-турецкого мира) (ил. 3) [Ellis 2008, 140–142]. В 1798 году состоялась битва при Абукирке между британским и французским флотами, а в 1799 году Роберт Баркер показывал панораму «Поражение адмирала Нельсона» (ил. 4) [Karlan 2018, 80]. И все это свежие новости в формате новых оптических зрелищ.

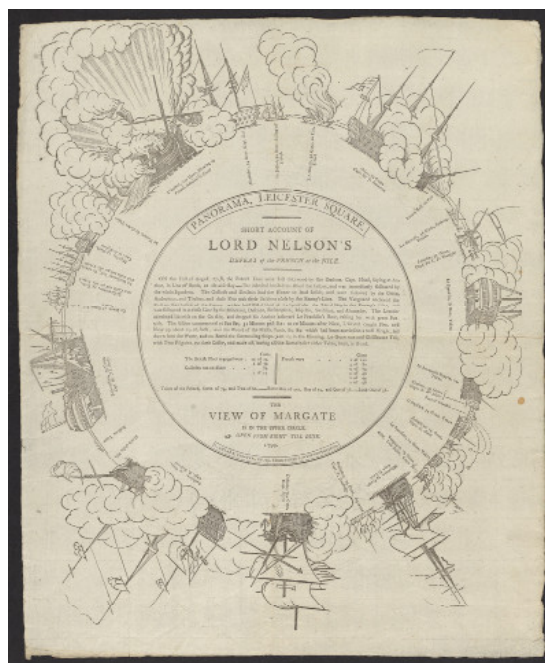


Ил. 2. Настольная диорама «Морское сражение у острова Всех Святых 12 апреля 1782 года».

Неизвестный мастер по гравюре Ричарда Патона. Около 1783.
Стекло, дерево, бумага, металл, краска, позолота. 45,5 × 96,5 × 20.
Морской музей, Гринвич. MDL0011 Копия музейного предмета
из открытых источников Royal Museum Greenwich
<https://www.rmg.co.uk/collections/objects/rmgc-object-37317>



Ил. 3. Пояснение к панораме «Британский королевский флот в Спитхед, готовый к отплытию в Балтийское море» («Russian Armament»). 1793. Бумага, печать. 27,5 × 45. Йельский центр Британского искусства. Копия печатного издания из открытых источников Yale Center for British Art <https://collections.britishart.yale.edu/catalog/orbis:9877908>



Ил. 4. Пояснение к панораме «Краткое описание поражения лорда Нельсона от французов на Ниле». 1799. Бумага, печать. 42 × 35. Йельский центр Британского искусства. Копия печатного издания из открытых источников Yale Center for British Art <https://collections.britishart.yale.edu/catalog/orbis:9149612>

Э. Хухтамо заметил, что панорамы были ориентированы на два типа зрелищ – экзотические ландшафты и современные «горячие точки» [Huhtamo 2013, 5]. А. А. Дружинин также отмечал, что новые оптические зрелища нередко «стремились сделать репортажем, непосредственным откликом на злобу дня» [Дружинин 2013, 451]. В 1816 году братья Маршаллы показывали в Дублине перисферическую панораму битвы при Линьи и Ватерлоо (1815), в 1819 – бомбардировку Алжира (эпизод англо-голландской морской экспедиции против Алжира в 1815 году) [Huhtamo 2008, 236]. В 1820–1821 годах зрители Лондона, Дублина и Эдинбурга могли практически одновременно видеть потрясшее всех в 1816 году кораблекрушение фрегата «Медуза» на полотне Т. Жерико, на театральной сцене (морская мелодрама Уильяма Томаса Монкриффа) и в «перисферической панораме» Маршаллов. Причем в Дублине живопись проиграла в конкурентной борьбе за зрителя новейшему оптическому зрелищу [Riding 2004]. В 1823 году жители Эдинбурга посещали панораму «Коронация Георга IV» (событие состоялось в 1820 году), а спустя несколько лет зрителей Лондона и Глазго пригласили на панораму битвы при Ватерлоо [Huhtamo 2013, 4–29]. В 1828 году по Европе гастролировала панорама «Битва при Наварине» (1827) [Pettitt 2020, 135–136]. Конечно, дистанция в год, два, а то и три, может показаться слишком большой – какие же это новости? Но на изготовление панорам требовалось время, да и текло оно тогда медленнее. Исключительные события, которые становились сюжетами панорам, казалось, произошли совсем недавно. К тому же прежде о них только читали или слышали, а в панорамах – увидели собственными глазами. На основании свидетельств современников, посетителей панорам на темы военных сражений, исследователи отмечают доминанту иммерсивного опыта, избыточность впечатлений, захватывавшие все органы чувств, что давало особенно острые ощущения [Kaplan 2018, 77–78].

Новые оптические зрелища были тесно связаны с мастерством театральной декорации. Многие их создатели были одновременно и художниками, и сценографами, и создателями панорам. Эйдофузикон Филиппа де Лутебурга представлял собой миниатюрный театр декораций, как и полноформатный театр Пьетро Гонзага в Архангельском.

В 1770 году, когда ставились «Новые аргонавты», панорам еще не было, и наиболее технологически продвинутой формой зрелища был театр с высокоразвитой машинерией. Спектакль оказался наиболее оперативной формой визуализации новостей, опережающей даже карту или гравюру с изображением боя. На создание балета у постановщика и труппы было не больше двух недель.

Сценография балета «Новые аргонавты» и «Аллегория» Генриха Бухгольца: назад к аллегорическому коду

Театр и изобразительное искусство XVIII века тесно связаны. Театроведы пишут об ориентации мизансцен дорежиссерского театра на живописные полотна и скульптуру, искусствоведы – о театрализации в изобразительном искусстве раннего Нового времени. Качество театральности можно рассматривать не только как ориентацию на театральный или риторический жест, на сценические принципы построения композиции с авансценой, кулисами и т. п. Ю. М. Лотман назвал театр активной формой «первичного кодирования», которая избирательно наделяет значением некоторые явления действительности [Лотман 2002, 389]. П. Франкастель показал, что театр стал источником фигуративной образности Кватроченто – реальные объекты театрального реквизита составляют значительную часть той визуальной среды, в которой действуют новые герои и разворачиваются новые сюжеты живописи [Франкастель 2005, 9–10]. Опыт театральной фигуративности, как показал Франкастель, имея в виду не только Ренессанс, но и раннее Новое время, – это необходимый исторический этап, через который прошло изобразительное искусство, чтобы на рубеже XIX–XX веков овладеть самостоятельным языком, не переводимым на другие.

Конечно, невозможно прямо переносить опыт Ренессанса на русскую живопись и россику XVIII века, но типологически это подобный процесс. Между тем примеров, сходных с собранными Франкастелем, в российской визуальной среде XVIII века известно крайне мало. Тем интереснее «Аллегория побед русского флота в войне с Турцией 1768–1774 гг.» Генриха Бухгольца (1777, 75 × 127,2, х. м., ЭРЖ – 1727, ил. 5), иллюстрирующая обращение к театральной фигуративности. Обстоятельства ее создания, увы, неизвестны. Судя по размерам, картина могла предназначаться для частного интерьера. Сегодня благодаря камерному размеру и плотности мотивов (Петр Первый, Адмиралтейство, Исаакиевский собор, Медный всадник) она превратилась в неперменного участника выездных эрмитажных выставок, посвященных различным периодам культуры XVIII века. Аллегория интересна для нас тем, что Бухголец явно ориентировался если не на сам балет «Новые аргонавты», то на его программу⁶.

⁶ За это предположение, высказанное в личной беседе, благодарю Н. Ю. Бахареву, старшего научного сотрудника, хранителя фонда живописи XVIII века отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа. Она согласилась с убедительностью отмеченных параллелей.



Ил. 5. Генрих Бухгольц. Аллегория побед русского флота в войне с Турцией 1768–1774 гг. 1777. 75 × 127,2, х. м., © Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.

Копия музейного предмета из открытых источников Государственного Эрмитажа
<https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/digital-collection/01.+Paintings/174578/>

Мы видим корабли на стапелях Адмиралтейства и башню, украшенную флагами, площадь с Исаакиевским собором (по неосуществленному проекту А. Ринальди) и неверно развернутого Медного всадника. Этот городской вид создан, скорее всего, с опорой на модели собора и памятника Петру, которые выставлялись для обозрения⁷. Тем не менее вид вполне правдоподобен и помещен, как в раму, в аллегорическую композицию.

Знакомство Бухгольца с балетом (или его программой) демонстрирует, прежде всего, левый угол картины с фигурой Петра I. В балете на протяжении всей сцены сражения по краям сцены находились восседающие в облаках фигуры Петра I и Минервы, которые ободряли русских моряков, а после одержанной победы «невидимую и божественную силою» воздвигали триумфальные врата. Программа сообщала: «Среди огня и дыма в прозрачных облаках виден с одной стороны Петр I, император всероссийский, ободряющий флот им основанный и вещающий в сердца героев: “Дух мой с Вами”» [Анджолони 1770, 9]. Облака на картине – на них сидит Петр и опирается Хронос – очень похожи на театральные облака из фанеры и раскрашенного холста, скрывавшие сценические конструкции. Петр в аллегории Бухгольца, как и Петр в «Новых аргонавтах»

⁷ Любезно сообщено Н. Ю. Бахаревой в личной беседе.

Анджолити, «ободряет» русский флот. И не только жестом. Рядом с ним странное корявое деревце, сюжетом как будто не оправданное. Это воспроизведение эмблемы из книги «Символы и эмблемата» с девизом «Требует подпоры» [Символы и Эмблемата 1705, 25, № 70]⁸. Вместо Минервы с вензелем Екатерины II (как в программе балета) – Слава с портретом императрицы и картой Черного моря. На сцене Петр и Минерва воздвигали триумфальную арку победителям. На холсте триумфальную арку, перекинувшуюся с одного берега Невы на другой, составляют фигуры Петра, Хроноса, Славы и облака, служащие им опорой. То есть на картине воспроизведены некоторые значимые аллегорические элементы балетной сценографии. Несмотря на то, что репертуар визуальных аллегорий XVIII века универсален и для живописи, и для фейерверков, и для театральных спектаклей, такие близкие пересечения между картиной и сценографией исключительно редки⁹.

Набор сюжетов аллегорической картины Бухгольца, как кажется, представляет собой перевод календарных событий в пространственные образы. Мы видим триумфальное шествие с преклонением знамен к монументу Петра как аналог возложения 14 сентября трофейных знамен к гробнице Петра в Петропавловской крепости. Перенос триумфального шествия к Сенатской площади оправдан, возможно, хроникой празднований 1770 года – транспортировкой Гром-камня в годовщину коронации Екатерины II. Открытие Медного всадника состоится только спустя пять лет после написания живописной аллегии, в 1782 году. Видим Адмиралтейство, место церемониального обеда 19 сентября. Несмотря на Хроноса, сияние лучей Славы и тому подобное, документальная основа аллегии Бухгольца воспроизводит календарь празднований Чесменской победы в сентябре 1770 года, завершенный постановкой балета.

Картина Бухгольца, черпавшая фигуративность из программы балета (или из самого зрелища – это пока установить не удалось), возвращается от документального к аллегорическому коду. Именно аллегорические «фигуры» позаимствованы из «Новых аргонавтов», тогда как документальность зашифрована.

⁸ Нэнси Коллман полагает, что Петр на этой картине восторгается триумфальным шествием с возложением знамен к подножию Медного всадника. Она, похоже, не учитывает эмблему [Kollmann 2017, 275].

⁹ На параллели между балетом «Новые аргонавты» и аллегорией Г. Бухгольца указано в статье [Никифорова 2020], но вне контекста археологии медиа и празднования Чесменской победы в 1770 году.

Заключение

Балет «Новые аргонавты» Г. Анджелини – экзотический случай и в этом смысле уникальное явление, но не в истории театра или балета, а в традиции циркуляции новостей в конце XVIII века, а также в истории визуального опыта, – возможность увидеть своими глазами ключевое современное событие, несмотря на расстояние и временную дистанцию. Представляется важной сама попытка переопределить это зрелище, поместить его в другую морфологическую ячейку или на границах классификационных категорий, которыми структурированы наше представления о явлениях и подходах к их изучению.

Проанализированный пример показывает извилистые пути становления медиа как технически опосредованной коммуникации и одновременно технически опосредованных способов видения [Цилински 2019, 9–10]. Археология медиа интересуется историей визуального опыта и его технологическими форматами, в том числе тупиковыми путями и забытыми технологиями, продлевает историю медиа в позднее Средневековье, показывает сосуществование технических искусств (фотографии и кино) с мощной традицией оптических зрелищ, изобретенных в дотехнологическую эпоху, и их успешную конкуренцию с новинками.

Представленный кейс может дополнить историю и археологию медиа на российском материале. Такие исследования пока сравнительно немногочисленны и охватывают «классические» объекты типа камеры-обскуры, волшебного фонаря, панорам, диорам, то есть примеряют европейские траектории к российской почве. «Новые аргонавты», возможно, демонстрируют культурно-специфический формат общего процесса. Это спектакль, в том числе механический спектакль, то есть вполне традиционная форма зрелища. Неожиданной и встраивающейся в процессы обновления видения стала сама установка на документальность и репортажность. Наш балет можно назвать кентавр-явлением и поставить вопрос о других подобных сюжетах в истории визуального опыта и технологий.

БИБЛИОГРАФИЯ

Анджелини 1768 – Анджелини Г. Торжествующая Минерва, или Победенное предрассуждение: Балет аллегорично-пантомимный представленный в Санкт-Петербурге на придворном театре ноября 28 дня 1768 года: На случай благополучного и всерадостного

- освобождения ея императорского величества и его императорского высочества от привития оспы / Сочинение как самого балета, так и музыки господина Анжелини, балетмейстера в службе ея императорского величества самодержицы всероссийской. СПб., 1768.
- Анджолени 1770 – *Анджолени Г.* Новые аргонавты: Балет пантомимно-аллегоричный, представленный на Императорском театре сентября 24 дня 1770 года, по случаю преславной победы, одержанной над флотом оттоманским при острове Хио / Изобретение и сочинение балета г. Анжолени, балетмейстера находящегося в службе ея императорского величества. СПб.: При Морском шляхетном кадетском корпусе, 1770.
- Бакмейстер 1786 – *Бакмейстер И. Г.* Историческое известие о изваянном конном изображении Петра Великого. СПб.: Тип. Шнора, 1786.
- Бахрушин 1965 – *Бахрушин Ю. А.* История русского балета. М.: Сов. Россия, 1965.
- Гардзонио 1999 – *Гардзонио С.* Неизвестный балетный сценарий XVIII века // XVIII век. Сборник 21: Памяти Павла Наумовича Беркова (1896–1969) / РАН, ИРЛИ (Пушкинский Дом); отв. ред. Н. Д. Кочеткова. СПб.: Наука, 1999. С. 239–246.
- Гозенпуд 1959 – *Гозенпуд А. А.* Музыкальный театр в России: от истоков до Глинки : очерк. Л.: Музгиз, 1959.
- Греч 1930 – *Греч Н. И.* Записки из моей жизни. М.–Л.: Academia, 1930.
- Дружинин 2013 – *Дружинин А. А.* Развитие диорамного искусства на Западе и в России в первой трети XIX – начале XX века // Искусствознание. 2013. № 3–4. С. 446–477.
- Екатерина II 1874 – Сборник Императорского Русского исторического общества. СПб.: Тип. Императорской Академии наук, 1874. Т. 13: Бумаги императрицы Екатерины II, хранящиеся в Государственном архиве Министерства иностранных дел; т. 3.
- Екатерина II 1880 – Сборник Императорского Русского исторического общества. СПб.: Тип. Императорской Академии наук, 1880. Т. 27: Бумаги императрицы Екатерины II, хранящиеся в Государственном архиве Министерства иностранных дел; т. 4.
- Зорин 2018 – *Зорин А. Л.* Появление героя. Из истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX вв. М.: Новое литературное обозрение, 2018.
- Кавалькабо 1770 – *Кавалькабо* [Сего сентября 2 дня получено здесь следующее известие от находящегося нашего поверенного в делах на Мальтийском острове маркиза Кавалькабо] // Прибавление к № 72 Санкт-Петербургских ведомостей во вторник, сентября 7 дня 1770 года. [Б. п.].

- Корндорф 2011 – Корндорф А. С. Дворцы Химеры. Иллюзорная архитектура и политические аллюзии придворной сцены. М.: Прогресс-Традиция, 2011.
- Корндорф 2013 – Корндорф А. С. «Deus ex machina» и декоративная живопись русского барокко. К вопросу о границах жанров // Художественная культура. 2013. № 1. URL: <http://artculturestudies.sias.ru/2013-1/istoriya-i-sovremennost/771.html> (дата обращения: 15.01.2020).
- Лотман 2002 – Лотман Ю. М. Театральный язык и живопись (к проблеме иконической риторики) // Лотман Ю. М. Статьи по семиотике культуры и искусства. СПб.: Академический проект, 2002. С. 388–400. (Серия «Мир искусств»).
- Материалы 1886 – Материалы для истории русского флота. СПб.: Тип. Морского ведомства в главном Адмиралтействе, 1886. Ч. XI.
- Никифорова 2020 – Никифорова Л. В. Боги в облаках: «эстетика картины» и балет екатерининской эпохи // Актуальные проблемы теории и истории искусства: сб. науч. ст. / под ред. А. В. Захаровой, С. В. Мальцевой, Е. Ю. Станюкович-Денисовой; МГУ им. М. В. Ломоносова. СПб.: НП-Принт, 2020. Вып. 10. С. 255–265.
- О пожаловании 1830 – О пожаловании серебряных медалей всем нижним морским чинам за истребление неприятельского флота 24 и 25 июля. [13.512 – Сентября 23] // Полное собрание законов Российской империи с 1649. СПб., 1830. Т. 19: 1770–1774. С. 153.
- Орлов 1770 – Орлов А. Г. [Сего сентября 13 дня получено от генерала графа Алексея Григорьевича Орлова... донесение об истреблении турецкого флота при берегах Ассийских] // Прибавление к № 75 Санкт-Петербургских ведомостей в пятницу, сентября 17 дня 1770 года. [Б. п.].
- Пиотровский 1989 – Эрмитаж: история строительства и архитектура зданий / под общ. ред. Б. Б. Пиотровского. Л.: Стройиздат, 1989.
- Потемкин 1795 – Потемкин П. С. Зельмира и Смелон, или Взятие Измаила: лирическая драма. СПб.: Тип. Корпуса чужестранных единоверцов, 1795.
- Символы и Емблемата 1705 – Символы и Емблемата указом... Царя и Великого Князя Петра Алексеевича... напечатаны / Symbola et Emblemata jussu atque auspiciis sacerrimae suae majestatis augustissimi ac serenissimi imperatoris Moschoviae magni domini Czaris et magni ducis Petri Alexeidis totius magnae, parvae et albae Rossiae, nec non aliarum multarum potestatum atque dominiorum orientalium, occidentalium aquilonariumque supremi monarchae. Амстердам: тип. Генриха Ветстейна, 1705.

- Франкастель 2005 – *Франкастель П.* Фигура и место: визуальный порядок в эпоху Кватроченто / пер. с фр. А. В. Шестакова. СПб.: Наука, 2005.
- Церемониальный 1856 – Церемониальный камер-фурьерский журнал 1770 года. [Б. м.], 1856.
- Цилински 2019 – *Цилински З.* Археология медиа: о «глубоком времени» аудиовизуальных технологий. М.: Ад Маргинем Пресс, Музей современного искусства «Гараж», 2019.
- Ямпольский 2004 – *Ямпольский М. Б.* Язык–тело–случай: кинематограф и поиски смысла. М.: Новое литературное обозрение, 2004.
- Boase 1959 – *Boase T. S. R.* Shipwrecks in English Romantic Painting // *Journal of the Warburg and Courtauld Institutes*. 1959. Vol. 22 (3/4). P. 332–346.
- Dioramic model 1782 – Dioramic model of the Battle of the Saints, 12 April 1782. MDL0011 / National Maritime Museum, Greenwich, London. URL: <https://collections.rmg.co.uk/collections/objects/37317.html> (accessed: 26.01.2021).
- Ellis 2008 – *Ellis M.* Spectacles within doors: panoramas of London in the 1790s // *Romanticism*. 2008. Vol. 14 (2). P. 133–148.
- Evstratov 2016 – *Evstratov A.* Les Spectacles francophones à la cour de Russie (1743–1796): L'invention d'une société. Oxford: Voltaire Foundation, University of Oxford, 2016.
- Huhtamo 2008 – *Huhtamo E.* Penetrating the peristrepthic: an unwritten chapter in the history of the panorama // *Early Popular Visual Culture*. 2008. Vol. 6 (3). P. 219–238.
- Huhtamo 2013 – *Huhtamo E.* Illusions in motion: media archaeology of the moving panorama and related spectacles. Cambridge, MA; London: The MIT Press, 2013.
- Kaplan 2018 – *Kaplan C.* Aerial Aftermaths: Wartime from Above. Durham: Duke University Press, 2018.
- Kollman 2017 – *Kollmann N.* The Russian Empire: 1450–1801. Oxford: Oxford University Press, 2017.
- McCalman 2015 – *McCalman I.* The Eidophusikon. A modern simulation of an eighteenth-century moving picture show // Sydney Environment Institute. 2015. 20 Oct. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=ILWxH09tVJQ> (accessed: 26.01.2021).
- Pettitt 2020 – *Pettitt C.* Serial Forms: The Unfinished Project of Modernity, 1815–1848. London: Oxford University Press, 2020.
- Riding 2004 – *Riding Ch.* Staging The Raft of the Medusa // *Visual Culture in Britain*. 2004. Vol. 5 (2). P. 1–26.

Материал поступил в редакцию 08.03.2021

Материал поступил в редакцию после рецензирования 08.07.2021

**ВООБРАЖАЯ ОДЕССУ:
ЕВРОПЕЙСКИЕ СТЕРЕОТИПЫ И УБЕЖДЕНИЯ
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
(НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ Л. ГАРНЕРЕЯ)**

В. Н. Филас

Хортицкая национальна академия, Запорожье, Украина
filasvn@gmail.com

Б. Иванова

Университет строительства и архитектуры «Любен Каравелов»,
София, Болгария
bg_fineart@abv.bg

Историки, как правило, скептически относятся к достоверности визуальной информации, отдавая предпочтение другим источникам, в первую очередь письменным, зачастую забывая о том, что живопись и графика являются продуктом своей эпохи и несут информацию о ней. Эти источники часто наполнены символами, метафорами, иносказаниями. Восприятие живописи и графики «буквально» мешает историку понять глубину их информативных возможностей. К таким насыщенным непрямыми указаниями на историческую действительность и относится раскрашенная акватинта «Вид одесского порта», изданная в Париже в начале 30-х годов XIX века по рисунку Л. Гарнерея. «Экспертный» взгляд на работу сразу же формирует заключение о несоответствии изображения той действительности, которую оно отображает, что автоматически зачисляет данную работу в исторические «не источники».

В основе публикации лежит структурный анализ сюжета на предмет информационного потенциала его элементов. Выяснено, что анализируемая работа Л. Гарнерея полностью состоит из стаффажа и антуража, имеющих второстепенное значение в других картинах. Исследованы формы и характер информации, которые способны транслировать эти второстепенные элементы. Они представлены в условной (прорисованы контуры объекта) и общей (прорисованы второстепенные, слегка узнаваемые черты объекта) формах. Условная и общая формы способны нести в себе соответственно индексную и символьную информацию. Третий тип – иконическая информация – отсутствует, так как работа Л. Гарнерея основана на воспоминаниях европейцев, в первую очередь моряков, бывавших в Одессе.

Выявлено семь элементов сюжета, которые несут индексную и символическую информацию об Одессе. Композиционно они составляют три части – передний план «Мыс Фонтан» (маяк и мыс, гуляющие люди), средний план «Бухта» (корабли, одесский залив) и задний план «Материк» (город, горный массив, бастионы).

Информационные возможности акватинты Л. Гарнерея позволяют выявить те стереотипы и убеждения, которые существовали об Одессе

в Европе в первой половине XIX века. Одесса для европейцев была типичным, но важным средиземноморским городом, имеющим торговое, военное и хозяйственное значение. Основными стереотипами об Одессе были ее локализация в горной местности и чрезмерные фортификации. Собственно одесскими маркерами выступали Свято-Преображенский собор, маяк на мысе Фонтан, а также полиэтничность населения.

Ключевые слова: Одесса, изобразительный источник, информационный потенциал, структура сюжета, стереотип, стаффаж, антураж.

**IMAGINING ODESSA:
EUROPEAN STEREOTYPES AND BELIEFS
IN THE FIRST HALF OF THE 19TH CENTURY
(ON THE EXAMPLE OF A WORK BY LOUIS GARNERAY)**

Victor N. Filas

Khortytsia National Academy, Zaporozhye, Ukraine
filasvn@gmail.com

Blagovesta Ivanova

University of Structural Engineering and Architecture "Lyuben Karavelov",
Sofia, Bulgaria
bg_fineart@abv.bg

The image is not an exact copy of a historical object. It represents its structural equivalent in one or another pictorial expression, which historians often do not notice or ignore. Therefore, in history, due to the lack of a proper research methodology, graphics are the visual support of the text that enhances the text's perception and attractiveness. The aim of this publication is, based on the method of structural analysis of image elements, to show the depth of the informative potential of graphic works with, at first glance, "doubtful" reliability. The object of analysis is *View of the Port of Odessa* by Louis Garneray. This work is full of symbols, metaphors, allegories due to the fact that it was created on the basis of oral recollections of European sailors who once visited the port of Odessa. The analyzed work is a set of staffage and entourage elements that are of secondary importance in other work of arts. Seven plot elements were identified, which carry indexing and symbolic information about Odessa. Compositionally, these elements make up three parts: the foreground "Cape Fontan" (a lighthouse and a cape, walking people), the middle plan "Bay" (ships, Odessa Harbour), and the background "Mainland" (city, mountain range, bastions). For Europeans, Odessa was a typical, but important commercial, military and economic Mediterranean city. The main stereotypes about Odessa were its localization in the highlands and excessive fortifications. The

actual Odessa markers were the Holy Transfiguration Cathedral, the lighthouse at Cape Fontan, as well as the multi-ethnicity of the population.

Keywords: Odessa, visual source, informative potential, plot structure, stereotype, staffage, entourage.

DOI 10.23951/2312-7899-2022-2-157-171

Ещё задолго до К. Линча и его методики ментального картографирования, которая подробно изложена в работе «Образ города», элементы подобной методики использовались для создания воображаемых пейзажей и видов городов. Движимый желанием представить публике образы портовых городов, однако не имея возможности побывать везде, увидеть воочию и снять с натуры тот или иной город, художник Л. Гарнерей решил задачу передвижения в пространстве путем созерцания портов Европы чужими глазами. Собственно говоря, эти аккумуляции «чужих» созерцаний очевидцев, а точнее – виденье, отдаленно напоминает «линчевскую» анкету, хотя и научно не организованную и не систематизированную. Сущность методики К. Линча как раз и заключается в том, что исследователь просит «нарисовать» эскизный план города, дать детальное описание нескольких путешествий по городу, перечислить и кратко описать те его части, которые наиболее четко и живо закреплены в памяти [Глазков 2013, 140]. Именно через виденье респондентов, побывавших и живущих в Лос-Анджелесе, Джерси и Бостоне, К. Линч исследовал образы этих городов [Линч 1982]. Так и Л. Гарнерей через взгляд очевидцев, побывавших и слышавших об Одессе, создал визуальный образ города в виде произведения графики, содержащего выраженные визуализированные особенности образа причерноморского города, отраженные в памяти европейских респондентов.

Научное знание об образе города, созданное К. Линчем, обрело благодаря своему подходу десятки последователей, развивающих его идеи и совершенствующих методику. Гравюра, созданная Л. Гарнереем (ил. 1), является произведением искусства и важным источником по истории ментальной географии города, в данном случае Одессы. И если современник К. Линча, побывавший в Одессе и имеющий некоторое представление об особенностях ее городского пространства, взглянул бы на гравюру Л. Гарнерея, то эта Одесса была бы ему незнакома, и не только потому, что прошло 150 лет.

А потому, что эта Одесса, странная для современников гравюры, есть не что иное, как ее ментальная карта, выраженная художественными средствами и подчиненная принципам композиционного построения. Материальные объекты, люди, их занятия, составляющие вариант «ткани» городской среды Одессы, визуализированный Л. Гарнереем, являются маркерами и знаками, которые наиболее четко отобразились в памяти европейских «респондентов» художника.



Ил. 1. Вид одесского порта. Автор: Луи Амбруаз Гарнерей. Копия акватинты из открытых источников: http://www.rusbibliophile.ru/Book/Vid_Odesskogo_porta__Risoval_

Визуальную «ментальную» карту, фиксирующую культурные смыслы, ценности, мифы и приоритеты в организации городского пространства Одессы 30-х годов XIX века, и прочтение подобных визуализаций можно рассматривать как новое направление в поиске источников для изучения истории ментальных урбанистических образов. Деконструкция сюжета с целью выявления маркеров, а также раскрытие их смыслов и интерпретация входят в круг основных задач данного исследования, что даст возможность прочесть предложенную Л. Гарнереем визуальную «ментальную» карту Одессы.

Методология исследования

Методологией исследования, релевантной цели и задачам, стало применение процедур структурного анализа в контексте идей деконструктивизма, а именно идей Ж. Дерриды о том, что изображение есть текст. Анализ внутренней структуры сюжета акватинты Л. Гарнеря «Вид одесского порта» (ил. 1) был направлен не на поиск внешнего «сходства» с эпохой визуального источника, а на то, что способно сделать историческими «документами» произведения живописи и графики. Другими словами, на выявление исследовательского потенциала визуального источника, который может устанавливаться только в единстве с пониманием особенностей формирования сюжета. Заметим, что деконструктивизм иногда считают крайней формой социального критицизма, поскольку в качестве одного методов постмодернизма он всегда наполнен скепсисом. Его принципы – диалогизм, отрицание и интертекстуальность – стали базовыми в исследовании произведений живописи и графики. Итак, примененные нами процедуры анализа опирались на принятие того, что интерпретация субъективна, зарождается в диалоге между исследователем и визуальным текстом, и отрицание эпистемической эффективности традиционных толкований визуализаций без поиска «следов» других текстов при анализе конкретного произведения.

В исторических исследованиях при анализе таких визуальных источников, как живопись и графика, царит преимущественно позитивистский подход. Сведения, которые они содержат и которые можно из них извлечь, большинство исследователей воспринимают буквально. По этой причине различного рода искажения и неточности исторической действительности, выявленные в процессе иконографического анализа (зачастую поверхностного), как правило, заставляют исследователей сомневаться в достоверность визуального источника.

Эти аберрации «исследовательского зрения» в исторических курсах объясняются еще и следующими причинами. Во-первых, «самовыражением художника», то есть попыткой пропустить действительность через себя и выразить свою индивидуальность через «модернизацию» этой действительности. Хотя необходимо указать, что такая художественная «модернизация» объективной реальности преследует цель усилить эмоциональное восприятие изображения. Визуальные источники традиционно используются для «иллюстрации» исторического научного текста и облегчения его восприятия через эмоциональную коммуникативную составляющую изображения.

Во-вторых, ошибки в передаче действительности объясняются реконструированием объективной реальности через некоторое время после событий на основе памяти, а также эскизов, зарисовок и заметок. Такие объяснения искаженной фиксации объективной действительности прошлого являются достаточно устойчивыми в исторической науке при анализе изображений как исторического источника. Поэтому историки часто навешивают ярлыки некомпетентности художникам в передаче элементов реальности или говорят о полном непонимании ими контекстов исторической эпохи, которая реконструируется. Или вовсе отмечают отдельные произведения живописи и графики, говоря об их бесполезности как источника, который вообще не отображает заявленную артионимом действительность.

На самом деле любое произведение живописи и графики как продукт своей эпохи несет о ней как документ определённую информацию. Подобный культурно-исторический подход ко всем произведениям живописи и графики начал складываться с 60-х годов XIX века в противовес художественно-историческому подходу, который базировался на эстетических проблемах художественного произведения, структуре образа, формах, в которых воплощалось его содержание [Гурьев 1973, 17]. Культурно-исторический подход базировался на идеалистических позициях Гегеля и рассматривал искусство как «документ жизни» конкретного региона в конкретную эпоху. Одним из первых этот подход предложил философ-позитивист, историк искусства И. Тен [Тен 1871].

Живопись и графика как «документ жизни» занимали одно из центральных мест в идеях представителей школы «Анналов», стоявших на позициях исторической антропологии. Общество для М. Блока, Л. Февра и их последователей – временная системная модель, которую недостаточно изучать только на политическом и экономическом уровнях. Для нашего исследования более важен тот факт, что кроме историко-антропологического подхода представители школы «Анналов» также сформулировали основы так называемой истории «коллективного бессознательного» (истории ментальностей). Это «коллективное бессознательное» воспринималось другими как диковинка, а для носителя оставалось незамеченным. Такие «диковинки» и были знаковыми элементами образа городского пространства, «прописанного» художником на основании слов «очевидцев».

Современные исследователи продолжают идеи и подходы предшественников. Историко-урбанистические штудии констатируют «посреднический» характер формирования многих образов, а также

наличие в этих образах знаковости, символизма и условности. Согласно последним исследованиям, литературные и исторические тексты Античности, Средних веков и Ренессанса были теми «очевидцами», от которых художники Кватроченто черпали характерные маркеры и создавали образы центров культуры древности, таких как Рим, Афины, Карфаген, уже в XV веке [Пивень 2020, 93]. Образы же многих европейских городов вплоть до эпохи Просвещения в художественной традиции, как правило, презентовались в виде знака, которым выступали фигура или атрибут патронального святого или герб. Развитие мореплавания и картографии, конечно, внесло коррективы в обновление визуальной репрезентации городов, однако эти изображения продолжали носить знаковый, эмблематический характер [Осминская 2017, 19]. Как утверждает Д. Курдюкова, чаще всего образам европейских городов, появлявшимся на картинах голландских художников Золотого века, был характерен фантазийный характер, даже когда эти образы представляли собой компиляцию из реальных (или похожих на реальные) архитектурных элементов. Также автор отмечает, что, хотя высказывалось немало предположений по идентификации того или иного города, к окончательному, устраивающему всех мнению в большинстве случаев специалисты пока не пришли [Курдюкова 2010, 112].

В отношении же изображений XIX века, на наш взгляд, существует научная «несправедливость», когда «излишний» символизм и знаковость визуального текста в условиях новых художественных вкусов, социальных заказов, символических смыслов вообще выносятся за рамки научного объяснения. К таким отодвинутым на исследовательские задворки работам и относится раскрашенная акватинта «Вид одесского порта», изданная в Париже в начале 30-х годов XIX века. Любой «экспертный» взгляд на работу сразу же формирует заключение о несоответствии изображения той действительности, которую он отображает, что автоматически зачисляет данную акватинту в исторические «не источники».

Данная акватинта была гравирована Сигизмундом Имели (Sigismond Himely, 1801–1872) на основе акварели художника-мариниста Луи Амбруаза Гарнерея (Louis-Ambroise Garneray, 1783–1857) – человека с довольно необычной для художника биографией. Его отец был художником при французском дворе. Жизненный и творческий путь Л. Гарнерея подробно отражен в его воспоминаниях. Прежде чем начать служение музе искусства, он с 13 лет бороздил просторы Северного полушария на каперском судне под командованием капитанов Р. Сюркуфа и Ж. Дютертера. В 1806 году он попал в плен

к англичанам, где и провел 8 лет в тюрьме. Именно это «открыло» у него творческий талант, поскольку он начал рисовать и продавать свои рисунки на морскую тематику, чем значительно улучшил условия пребывания в заключении. После отбытия наказания, в 1814 году, Л. Гарнерей попытался найти работу штурмана, но, потерпев неудачу, занялся живописью. Первая же выставка в одном из парижских салонов сделала его известным. Он стал личным живописцем герцога Ангулемского, который впоследствии стал командующим военно-морских сил Франции. В 1817 году бывший капер Л. Гарнерей получил должность первого официального живописца всего французского военно-морского флота. Наибольшую популярность Л. Гарнерею принесла серия изображений портов мира, в том числе и Одессы. Серия была начата в начале 30-х годов XIX века и издавалась до середины 40-х годов XIX века [Garneray 1851].

Результаты структурного анализа акватинты Л. Гарнерея

Центром сюжета акватинты (ил. 1) выступает огромный маяк, вокруг которого на небольшом мысу отдыхают и гуляют люди. Маяк разрезает акватинту на две неравные части. Справа от маяка на заднем плане «сползает» к морю террасами город. Слева – бухта с кораблями, а над ней огромный горный массив, между которыми видны крепостные укрепления и часть города.

Анализ построения сюжета работы Л. Гарнерея позволяет нам выделить такие условные системные элементы, как маяк и мыс, люди, город, горный массив, укрепления, бухта, корабли. Все эти элементы независимы друг от друга, условны и слабо выражены. То есть можно говорить о том, что данное произведение тиражной графики Л. Гарнерея полностью состоит из элементов, которые носят стаффажно-антуражный характер. Собственно, это является следствием того, что автор рисунка к акватинте не наблюдал воочию изображенную им панораму. Однако это, как следует из приведенных ниже результатов предпринятого анализа, не снижает значимости работы как для исторических исследований, так и для культурных штудий.

Отметим, что структура произведения живописи или графики представляет собой сочетание отдельных элементов в единое целое. Подобная целостность является важным критерием прежде всего эстетической оценки качества отдельного произведения. Одним из элементов сюжета, а также способом трансляции информации являются стаффаж и антураж, которые с точки зрения искусствоведения имеют второстепенное значение. Эти элементы – одно из рас-

пространственных средств достижения композиционной целостности сюжета. Под стаффажем понимаются фигуры людей, животных, транспортных средств. Антуражем называют окружающую среду как природного (деревья, горы, море, реки и т. д.), так и рукотворного происхождения (сооружения, дома и т. д.). Эти элементы позволяют уравновесить структуру изображения, связать отдельные элементы, передать динамику, усилить выразительность основных элементов [Янченков 2012, 16–17]. Как продукт своей эпохи и составляющая сюжета стаффаж и антураж обладают определенным информационным потенциалом.

Стаффаж и антураж являются изображениями определенного реального объекта, а потому с точки зрения полноты информации в визуальных источниках они могут выступать в трех формах: условной, общей и реальной, и выполнять соответствующие функции, а также транслировать определённые данные. Рассмотрим эти три формы использования стаффаж и антуража подробнее, чтобы понимать их художественные особенности и информационный функционал.

Условная форма представляет собой наглядно-образный способ передачи наиболее существенных сторон исторической действительности, которые вместе формируют лишь общее представление об элементах событий, явлений, фактов и объектов. На этом уровне стаффаж и антураж выполняют *условно-композиционные функции* в произведениях визуального искусства и несут минимум информации о себе. Такая форма подачи стаффаж и антуража используется в основном на задних и передних планах, когда надо «заполнить» место, не отвлекая зрителя от основных элементов сюжета. Элементы стаффаж и антуража на этом уровне прорисованы только по контуру и иногда заполняются цветом, но без конкретизации особенностей. Внутреннее смысловое наполнение формы отсутствует. Такая форма способна передавать в основном лишь индексальный тип информации. Главным для индексального знака в рассматриваемом примере является указание на единственность объекта или их множество, актуальное в настоящее время [Лекомцева 1972, 306]. Индексальный тип информации формирует представление о масштабе, раскрывает взаимосвязь объекта с окружающей средой. Этот тип информации также указывает на сущность изображенного и помогает зрителю его интерпретировать.

Общая форма стаффаж и антуража выполняет функцию *художественно-графического оформления*, она способствует выявлению характера сюжета и повышает его художественную привлекательность. На этом уровне прорисовываются все основные характерные

черты объекта. Общая форма стаффажа транслирует сведения о едва уловимых этнических чертах костюма, военной формы, социального статуса и тому подобное. Антураж даёт возможность говорить об общих узнаваемых чертах пейзажа. В такой форме антураж достаточно активно использовался в панорамных изображениях. Стаффаж и антураж в общей форме способны нести символическую информацию. Символьный знак не указывает или определяет, как это делает индексальный знак. Он формирует воображение. Символьный тип информации несет сведения о событиях и явлениях, определяя их и создавая эффект присутствия.

Стаффаж и антураж в реальной форме, помимо выделения характерных черт, содержат и прорисованные второстепенные элементы. Реальная форма представляет собой изображения людей, животных, окружающей среды и других элементов, которые во многом тождественны реальности. Эта форма стаффажа и антуража, выполняя *коммуникативную функцию* в сюжете, не указывает или определяет объект, а несёт в себе информацию о нём, по сути, являясь иконическим знаком. Иконический тип информации предусматривает некоторое сходство объекта и его знака. Он устанавливает отношение данного знака с индивидуальными членами определенного класса, то есть изображает не просто какие-либо лица, а конкретные персоны с социальным статусом, родом занятий, национальным признаком и тому подобным, или не надуманный пейзаж или символическую окружающую среду, а пейзаж с конкретного места, с конкретными объектами [Філас 2018, 321–323].

Структурный анализ работы Л. Гарнерея, как указывалось выше, имеет семь элементов, составляющих её сюжет. Композиционно акватинта разделена на три части – передний план «Мыс Фонтан» (маяк и мыс, гуляющие люди), средний план «Бухта» (корабли, одесский залив) и задний план «Материк» (город, горный массив, бастионы).

Венчает передний план и является осью композиции акватинты маяк. На первый взгляд этот маяк ничего общего с реальным маяком, установленным на мысе Фонтан в 1827 году, не имеет. Однако, сравнив его с реальным чертежом фонтанного маяка 1927 года, мы находим в них некоторые одинаковые «родовые» сходства [Описание 1851, 18]. Эти общие формальные сходства равномерно распределены по всему маяку (форма верхней и нижней частей, оконные проёмы), что говорит в первую очередь в пользу создания изображения маяка по устным описаниям, когда в памяти отображаются основные «родовые» признаки. Но устная передача при графической

фиксации естественным образом деформирует форму. Именно эта «деформированная» форма как продукт памяти, характеризующий её качество, является причиной «неузнаваемости» маяка с первого взгляда.

В районе маяка на мысе Фонтан также присутствуют стаффажные фигурки гуляющих людей, изображенные в общей форме. Они выполняют функцию художественного наполнения изображения. Среди этих фигурок люди различимы по социальному статусу и этническим признакам. Символьная информация стаффажей общей формы говорит о полиэтническом составе населения города и его социальном разнообразии.

Средний план – «Бухта» – представляет собой изображение одесского залива, насыщенного различного рода кораблями. Водная гладь передана условно, автор не выделяет каких-либо особенностей, кроме более тёмного цвета тени от мыса Фонтан и кораблей. Часть кораблей изображена в общей форме, что указывает на общие характеристики использования бухты (международная торговля, рыболовство и базирование военных кораблей). В ближней зоне залива изображено входящее в бухту торговое турецкое судно (трёхмачтовый барк), на что указывают отсутствие вооружения и красный флаг. Характерной особенностью изображения этого судна является «прозрачность» его парусов. Это сделано для того, чтобы не закрывать площадью парусов изображения за ними. Далее видим изображения шлюпа под парусами и стоящих рядом двух трёхмачтовых военных кораблей. Ближе к берегу виднеется судно, в котором узнается бригантина. Остальные корабли в силу своих размеров и удалённости от мыса Фонтан имеют условную форму.

Насыщенность одесского залива судами в условной форме, а также выборочная общая фиксация классов судов в общей форме говорит об интенсивной деятельности и загруженности одесского порта и визуально подчеркивает его экономическое значение, а также указывает на виды хозяйственной деятельности.

На заднем плане, «Материке», мы видим условный антураж. Справа изображен город со «сбегающими» к морю террасами с домами с красными крышами – типичный образ средиземноморского поселения. В районе порта выделяется храм с куполом и пропилеями. Собственно «одесских» маркеров в условном образе города практически нет, кроме изображенного в общей форме и несущего символьную информацию о себе храма с пропилеями, куполом и барабаном, но без колокольни, что соответствует, скорее всего, освященному в 1808 году Свято-Преображенскому храму в Одессе.

Колокольня храма была построена гораздо позже, в 1837 году [Самойлов 2009, 122–123]. Все остальные условные элементы изображения указывают на типичные черты средиземноморского города (море, порт, красные крыши, холмистая местность и террасы). Коннотация особенностей изображения города с артионимом «Вид одесского порта» указывает на средиземноморское представление о характере Одессы, такое же как и Генуи, Пор-Вандра, Тулона и других городов средиземноморского побережья, которые присутствуют в работах Л. Гарнерея.

В левой части заднего плана «Материка» изображена гористая местность, у её подножья – бастионы. В горном массиве приблизительно угадываются контуры хребта Тепе-Оба, у подножья которого лежит Феодосия. Нахождение этого элемента в работе Л. Гарнерея нелогично и никак не увязывается с одесским регионом. Скорее всего, это наслоение «крымских» воспоминаний моряков, которые бывали в портах Северного Причерноморья, вмонтированных Л. Гарнереем в свою работу. Бастионы, изображенные художником, мы можем наблюдать только в Севастополе. Одесские же береговые укрепления – Хаджибейский замок и форт на мысе Ланжерон – ни в какое сравнение не идут с севастопольскими укреплениями, изображенными на акватинте. Остатки Хаджибейского замка еще существовали в 1816 году, а укрепления на мысе Ланжерон были окончательно срыты в первой трети XIX века. Эти береговые форты были малоэффективны в контроле над такой большой бухтой, какой была одесская [Красножон 2018, 189].

В целом мы можем увязать условные изображения бастионов с акватинты Л. Гарнерея с существовавшими Хаджибейским замком или с фортом на мысе Ланжерон. Эти небольшие одесские фортификационные объекты отразились в работе Л. Гарнерея в «севастопольском» виде, что указывает на их известность в Европе.

С художественной точки зрения бастионы и горный массив органично продолжают задний план и заполняют пространство «Материка».

Формирование сюжета акватинты «Вид одесского порта» имело камеральный характер и происходило сугубо в мастерской художника. На территории Северного Причерноморья Л. Гарнерей никогда не был, поэтому сюжет был создан путём его конструирования из различного рода воспоминаний и впечатлений. По сути, это своего рода визуальное эссе-воспоминание на тему Одессы, графически «собранный» Л. Гарнереем от различных людей и воплотившее его собственные представления.

Выводы

Работа Л. Гарнерея «Вид одесского порта» дает представление об убеждениях и стереотипах, входящих в общий образ Одессы на европейской ментально-визуальной карте. В структуре этого образа присутствует мнение об Одессе как о полиэтническом городе с социально разнообразным населением, основой которого был порт, имеющий важное торговое, хозяйственное и военное значение. Экономическая важность порта усилена стереотипом его военноморской «укреплённости», хотя на самом деле Одесса никогда не имела мощных морских укреплений. Этот стереотип был распространённым в Европе. Достаточно взглянуть на работы кануна или периода Крымской войны, где слабо защищённая Одесса представляла укреплённым городом с системой береговых редутов и мощным фортом. Примером может быть цветная литография под названием «Die russische See- und Handelsstadt Odessa» («Русский морской и торговый город Одесса»), сделанная в мюнхенской мастерской Карла Хофельдера и изданная в Мюнхене в 1850 году.

Одесса в понимании европейца, современника акватинты Л. Гарнерея, была типичным средиземноморским городом с полиэтническим населением. «Черноморская Марселия» – так назвал Одессу в своих дневниках живший во Франции известный промышленник и предприниматель из династии известного рода Демидовых Анатолий [Демидов 1853, 257]. С Марселем сравнивал Одессу и писатель К. Паустовский: «Представьте себе увеличенную в несколько раз Одессу, к тому же во сто крат более шумную, блестящую, разноразличную и анекдотическую – это и будет Марсель» [Паустовский 1983, 511]. В подобном духе констатирует средиземноморскую принадлежность Одессы и американский путешественник Г. Уикофф, побывавший в Одессе в середине 1830-х годов: «На восьмой день мы приехали в Одессу, и я испытывал желание поверить, что по какому-то волшебству мы оказались в маленьком итальянском городке... жители были по большей части итальянцами или греками, также встречались французы, немцы и англичане» [Wickoff 1880, 231].

Акватинта Л. Гарнерея визуально утверждает и наглядно детализирует маркеры и стереотипы «средиземноморскости» образа города, известные из европейских нарративов XIX столетия. Современные исследования ментально-географических ориентиров Одессы недостаточно представительные. Однако и они, анализируя образ Одессы в репрезентациях путешественников, побывавших в городе в первой трети XIX века, отмечают, что город был слишком

«иностранным» для русских, а для иностранцев виделся как типично средиземноморское поселение [Панов 2016, 117–118]. Что-то подобное замечаем и у других авторов, которые пытались заглянуть в ментальную карту Одессы [Киянская, Фельдман 2020, 116].

«Средиземноморскость» Одессы в акватинте подчеркнута хаотичной террасной застройкой, что было визитной карточкой типичного города средиземноморского бассейна, в противовес четко продуманной лучевой и квартальной застройке, которая доминировала в градостроительной характеристике Одессы. Единственные маркеры, указывающие на Одессу в работе Л. Гарнерея, – едва узнаваемый маяк на мысе Фонтан, а также контурное обобщённое изображение Свято-Преображенского собора на фоне условных городских построек, несущих индексную информацию о том, что это большой средиземноморский город на горных холмах. Горный массив слева от города – стереотип, связанный, скорее всего, с указанием расположения Одессы по отношению к Европе, привязанный к маркерному географическому объекту – Крымскому полуострову, который выражался конструктом – Одесса находится в той стороне, «там, где горы», «там, где и Крым».

БИБЛИОГРАФИЯ

- Глазков 2013 – Глазков К. Экскурсия по городу: ментальные карты как инструмент изучения образа города // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2013. № 117. С. 136–151.
- Гурьев 1973 – Гурьев В. С. Идеино-методологические основы культурно-исторической концепции Я. Буркхардта: автореф. дис. ... канд. ист. наук. Томск, 1993.
- Демидов 1853 – Демидов А. Путешествие в Южную Россию и Крым через Венгрию, Валахию и Молдавию, совершенное в 1837 году. М.: тип. Александра Семена, 1853.
- Киянская, Фельдман 2020 – Киянская О., Фельдман Д. Одесса в публицистике Натальи Логуновой // Вестник РГТУ. Литературоведение. Языкознание. Культурология. 2020. № 6. С. 118–123.
- Красножон 2018 – Красножон А. Фортеці та міста північно-західного Причорномор'я (XV–XVIII). Одеса: Чорномор'я, 2016.
- Курдюкова 2010 – Курдюкова Д. Город вдали: небесный или земной? Изображение и образ города в нидерландской религиозной живописи XV в. // Вестник Московского университета. Сер. История. 2010. № 3. С. 109–123.

- Лекомцева 1972. – Лекомцева М. К анализу смысловой стороны искусства аборигенов Грут-Айленда (Австралия) // Ранние формы искусства: сб. ст. / сост. С. Ю. Неклюдов; отв. ред. Е. М. Мелетинский. М.: Искусство, 1972. С. 301–319.
- Линч К. 1982 – Линч К. Образ города. М.: Стройиздат, 1982.
- Описание 1851 – Описание маяков и знаков Черного и Азовского морей. Николаев: При Черномор. гидрогр. депо, 1851.
- Осминская 2017 – Осминская Н. Городские образы в европейском изобразительном искусстве XVII–XVIII вв. и их функция в коммуникативной среде // Артикульт. 2017. № 28 (4). С. 16–35.
- Панов 2016 – Панов А. Амбивалентность образа Одессы в репрезентациях русских и американцев в первой трети XIX в. // Вестник РГГУ. Политология. История. Международные отношения. 2016. № 2 (4). С. 110–119.
- Паустовский 1983 – Паустовский К. Книга скитаний // Паустовский К. Собрание сочинений. М.: Худож. лит., 1983. Т. 5. С. 397–568.
- Пивень 2020 – Пивень М. Образы Трои и Карфагена в итальянской книжной миниатюре и декоративной живописи Кватроченто // Искусство Евразии. 2020. № 1 (16). С. 92–104.
- Самойлов 2009 – Самойлов Ф. А. Из истории Одесского Кафедрального Спасо-Преображенского собора // Воронцовский сборник. Одесса : Негоциант, 2009. Вып. 2. С. 122–128.
- Тэн 1871 – Тэн И. Искусство в Италии и Нидерландах: третий и четвертый ряды лекций, читанных в Ecole des beaux-arts в Париже // Филологические записки. 1871. Вып. 1. С. 175–210.
- Філас 2018 – Філас В. М. Візуальне освоєння Північного Причорномор'я останньої чверті XVIII – середини XIX ст.: джерелознавчий аналіз. Запоріжжя: Вид-во Хортицької національної академії, 2018.
- Янченков 2012 – Янченков В. В. Антураж и стаффаж: методические указания к курсовому проектированию. Томск: Изд-во Том. гос. арх.-строит. ун-та, 2012.
- Garneray 1851 – Garneray L. Voyages de Louis Garneray... Aventures et combats. Paris, 1851.
- Wikoff 1880 – Wikoff H. The Reminiscences of an Idler. New York, 1880.

Материал поступил в редакцию 28.10.2020

Материал поступил в редакцию после рецензирования 14.02.2022

A STUDY OF RUSSIAN BIOPOLITICAL TECHNIQUES IN WOMEN'S BEAUTY AND HEALTH CARE

Leila Khadem-Makhsuos-Hosseini

Independent Researcher, Tehran, Iran
leila.hosseiny60@gmail.com

Hasan Jabbarinasir

MGIMO University, Moscow, Russia
Institute for Cultural and Social Studies,
Ministry of Science, Research and Technology, Tehran, Iran
jabbarinasir@gmail.com

Here, we explore how biopolitical techniques regulating women's bodies address the health, longevity and propagation problems to approach the demographic crisis that Russia is facing. The research is the establishment of how and why women willingly care about their health and beauty, so that the state will enjoy healthy women as human capital, the labor force and the producer of the future labor force and Russian race. We study how the control of issues of Russian women's diet, drinking, and beauty care can be influential factors as biopolitical techniques. The survey is based on the Foucauldian concept of governmentality that demands two complementary dimensions of biopolitics and neoliberal rationality. We investigate a triangle of neoliberal market, biopolitical rationality and women as active agents. We examine how neoliberal market produces knowledge via advertisement discourse about the ideal female subject; we demonstrate that neoliberal market marketizes health and beauty, leading women towards the state-desired way. Women as entrepreneurs invest their time and money in their human capital to enjoy social visibility and promotion. This is not objectification of bodies, rather a new form of subjectification. Habituating women toward healthy diet and moderate drinking, the state enjoys a healthy labor force. On the other hand, naturalization of sex difference by highlighting the essentially fit and attractive female body materializes the female body promising heterosexuality and obviously propagation. Moreover, conducting women to care about the beauty assures the maintenance of the myth of Russian woman's stunning beauty. Beautified improved Russian woman's body can mirror the superiority of race. We conclude that the reiteration of heteronormativity in all three sides of the mentioned triangle manifests that Russia uses traditional heteronormativity as a technique for managing the critical demographic situation. A feminist perspective on Russian biopolitics establishes the way the female body is regulated to divide the border between the viable subjects, the healthy, thin, fit and attractive female body and the opposing object bodies threatening Russian demography and race. The analysis confirms that the conduct of women toward self-monitoring to gain the approved subjectivity promises healthy women as human capital. Besides, association of

peculiar features to the female body constructs a truth about the normal female body, driving women to quest the constructed truth, which is naturalized as an essential feature. Attribution of properties to the female body and idealization of its man-pleasing peculiarities highlight the sex difference and contribute to the circulation of heterosexuality, which is a way to manage demographic problems.

Keywords: biopolitics, neoliberal market, governmentality, entrepreneur, subjectivity, health and beauty care, diet, female body, heteronormativity.

ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ БИОПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ЖЕНСКОЙ КРАСОТЫ И ЗАБОТЫ О ЗДОРОВЬЕ

Л. Хадем Махсус Хоссейни

Независимый исследователь, Тегеран, Иран
leila.hosseiny60@gmail.com

Х. Джаббаринасир

Московский государственный институт международных отношений,
Россия

Институт социальных и культурных исследований Министерства науки,
исследований и технологий, Тегеран, Иран
jabbari@inno.mgimo.ru

Анализируется использование методов биополитики в сфере регулирования женского тела для решения проблем здоровья, долголетия и продолжения рода в целях преодоления демографического кризиса, с которым столкнулась Россия. Исследование направлено на установление причин и способов заботы женщин о здоровье и красоте для увеличения своего человеческого капитала в условиях, когда государство рассматривает здоровую женщину и как рабочую силу, и как производителя будущей рабочей силы и русской нации. Изучается, как контроль вопросов питания и ухода за телом российских женщин может выступать весомым фактором биополитических методов.

Исследование основано на концепции государственного управления Фуко, которая требует двух взаимодополняющих измерений – биополитики и неolibеральной рациональности. Мы исследуем треугольник: неolibеральный рынок – биополитическая рациональность – женщины как активные агенты.

Рассматривается, как неolibеральный рынок через рекламный дискурс об идеальной женщине демонстрирует преимущества здоровья и красоты и продвигает соответствующие продукты, ведя женщин по пути, в котором

заинтересовано государство. Женщины-предприниматели вкладывают время и деньги в свой человеческий капитал, чтобы быть заметными в обществе и достигать успехов в деятельности. Это не объективация тел, а, скорее, новая форма субъективации. С одной стороны, пропагандируя здоровое питание и умеренное употребление алкоголя, государство получает здоровую рабочую силу. С другой стороны, натурализация половых различий путем акцентирования внимания на привлекательном женском теле материализует женское тело, обещающее гетеросексуальность и продолжение рода. Более того, привлечение женщин к заботе о своей внешности обеспечивает поддержание мифа о потрясающей красоте русских женщин, «усовершенствованное» тело которых может отражать и расовое превосходство. Делается вывод, что присутствие гетеронормативности во всех трех сторонах упомянутого треугольника свидетельствует о том, что Россия обращается к традиционной гетеронормативности как к способу управления критической демографической ситуацией.

Феминистский взгляд на российскую биополитику определяет способ регулирования женского тела, противопоставляющий жизнеспособных субъектов, обладающих здоровым, стройным, подтянутым и привлекательным телом, и обладателей «жалких» тел, угрожающих российской демографии и нации. Доказано, что самоконтроль женщин с целью обретения одобренной государством субъектности способствует формированию здоровой женщины как человеческого капитала. Кроме того, ассоциация специфических черт с женским телом конструирует представления о нормальном женском теле, побуждая женщин добиваться некоторого идеала, натурализованного как существенная черта. Приписывание определенных свойств женскому телу и идеализация его особенностей, привлекательных для мужчин, подчеркивает половые различия и способствует распространению гетеросексуальности, что является способом решения демографических проблем.

Ключевые слова: биополитика, неолиберальный рынок, государственность, предприниматель, субъектность, забота о здоровье и красоте, диета, женское тело, гетеронормативность.

DOI 10.23951/2312-7899-2022-2-172-189

Introduction

The research addresses Russian women's health and beauty care as driven by Russian biopolitics. Russian women's deep appreciation of fit, groomed, and beautified bodies has been eye-catching for us, as foreigners. Here, we survey the conduct of women's beauty and health care. The study is based on our understanding of Foucauldian biopolitics.

Foucauldian biopolitics is a political rationality that targets the lives of human species to maximize life processes. Biopolitics as a technique of biopower functions through “the regulatory control and series of interventions deployed in order to supervise the mechanics of life: propagation, births and mortality, the level of health, life expectancy, and longevity” [Foucault 1978, 139].

Biopolitics is situated in the general frame of neoliberalism. Biopolitical rationality and neoliberal rationality are two complimentary dimensions of governmentality. Governmentality is governing and encouraging people’s behavior through governed people’s own willing participation rather than through force or discipline. Individuals are encouraged to self-governing towards the state-desired conducts.

Neoliberalism promotes individualism, competition, entrepreneurship, belief in human beings as capital, as well as the centrality of market with limited state’s interference. Biopolitical rationality, on the other hand, endorses self-care, responsibility, and risk taking. Neoliberal freedom of circulations requires a security that plans a milieu where circulations can occur. It can be controlled by biopolitical regularization of population.

The research demonstrates how neoliberal market, providing diversity of choices, fosters individuality and competition among women who, like entrepreneurs, invest in their human capitals. On the other hand, it explores how the regulatory power of biopolitics regulates this freedom of movement through defining the borders of normal viable subjects who must live versus threatening abject bodies. Therefore, the responsibilized population willingly auto-govern themselves.

Russian biopolitics has been the object of some studies. However, they are generally concerned with state-driven policies on the regulation of a human body. Our survey, on the contrary, mainly brings to light the role of market as the site of the verdiction of the truth. Furthermore, the question of Russian women as the subject matter has innovatively added a tone of a gendered perspective to the study. Likewise, the study of responsible entrepreneur subjects in a neoliberal society gives more novelty to the present study.

Though there are contradictory accounts on considering Russia as a neoliberal society, mainly because of its oil-centered economy, it is also agreed that Russia now joined the global neoliberal market economy, “preserving many of the institutional features that are the product of its unique geography and historical heritage” [Nesvetailova 2005, 238–254]. The research proves the prominence of Russian market on biopolitical regularization of women’s body.

Health care of Russian women

Power over life, according to Foucault, started during the 17th century as “anatomo-politics of the human body” [Foucault 1978, 139], which is the disciplinary power. It produces “docile bodies”, who internalize the norms of the institutions. However, “what might be called a society’s ‘threshold of modernity’ has been reached when the life of the species is wagered on its own political strategies” [Foucault 1978, 143]. While disciplinary power focuses on individual bodies, regulatory power, biopolitics, targets the population, the “species of bodies”. It aims to increase the life “quality”, and “racial hygiene”, assuring healthy population, longevity, and propagation of race. This entry of life to politics is a new form of racism distinguishing “what must live and what must die” [Foucault 2004, 254]. For Foucault, state racism is “racism that society will direct against itself, against its own elements and its own products. This is the internal racism of permanent purification, and it will become one of the basic dimensions of social normalization” [Foucault 2004, 62]. The integral part of governing a population is inclusion of certain bodies that matter and exclusion of the others. Through regulation of bodies as, “imbued with the mechanics of life”, the state can control “propagation, births and mortality, the level of health, life expectancy and longevity” [Foucault 1778, 139]. The dominant discourse produced by relations of power constitutes the knowledge about the normal and healthy body. To enjoy a normal subjectivity, individuals regulate and use their bodies according to the standards. Foucault writes, “[P]ower produces, it produces reality ... the individual and the knowledge that may be gained of him belong to this production” [Foucault 1991, 194]. The produced bodies are the human capital of the state, the bodies that matter and the bodies counted as the race of the state.

Materialized bodies are also once politicized power relations “invest it [the body], mark it, train it, torture it, force it to carry out tasks, to perform ceremonies, to emit signs” [Foucault 1995, 25]. This goal is not achieved through “violence”, rather through directing the population to “conduct their conduct”. This technique of governing is governmentality. The word “governmentality”, coined by Foucault, is the combination of governance and rationality, meaning that people to be governed must be defined and categorized. Biopolitics, through “dividing practices”, which are the scientific way of categorizing the population, classifies the individuals so that they can be governed. Dividing practice as the first mode of objectification of the subject, unconsciously naturalizing the standards of normal body, labels people as normal or abject subjects.

Biopolitical ends have been supported by neoliberal rationality to “improve the productivity of labor, the health of the population, and so on” [Jakob & Sven-Olov 2013, 63]. In a neoliberal society, restriction of state intervention allows the free and natural circulation of people and commodities. In Foucault’s words, freedom is “the possibility of movement, change of place, and process of circulation of both people and things” [Foucault 2007, 48–49]. Therefore, political economy enjoys the centrality directing the way the population is “conducting their conduct”.

Here, we study how and why Russian market naturalizes a standard norm of health and beauty attributing them to the normal female body as accepted subjectivity vs the abject body. We will study how the control of population’s (here women’s) diet, drinking, and beauty care, are addressing demographic problems.

Russians’ diet, along with other aspects of their lives refashioned after the collapse of the USSR when the Russian market opened up to foreign manufacturers offering previously unavailable products, store-bought and fast foods. However, today, the situation is changing: the global trend of switching to a healthy lifestyle is increasing its influence on consumer behavior. 67 % of Russians actively monitor their diet in order to prevent various diseases [Loktev 2017]. Russian marketplaces have recorded an explosive growth in healthy food demand, which in 2020 tripled compared to 2019 [Vlasova 2020].

Considering the high rate of unhealthy food commercials [Kontsevaya et al. 2020, 1868–1876], there sounds no direct association between advertisements and the prevailing trend of healthy diet. However, the marketing discourse of commercials depicts a homogenous ideal of a thin fit body as a feminine ideal. It produces the knowledge about a healthy and sexy female body to construct women’s body image leading them toward self-monitoring.

On the other hand, the mushrooming growth of the variety of healthy organic food’s availability, sugar free snacks, super foods, plant based foods, dairy substitutes and gluten free products in Russian market influences the consumer needs. Unlimited choices mediated by free market provide the consumer the route to their desired healthy fit body. Commercialized health care instills in people’s mind the desire to have an access to health care so the consumers compete to get the materials that provide them the access to health and accordingly the accepted body. About 70 % of Russians declare their readiness to pay more for healthy products [Loktev 2017].

Investment in a healthy diet promises a healthy body, which is the normal body through which people gain accepted subjectivity. Dean maintains, “Consumption provides the terrain within which my identity, my lifestyle can be constructed, purchased and made over” [Dean 2009, 67]. The consumers, here women, through their choice of a healthy diet are identified as self-caring, rational, active, responsible entrepreneurs against the passive not-self-caring ones. The discourses of neoliberal governmentality “figure and produce citizens as individual entrepreneurs and consumers whose moral autonomy is measured by their capacity for ‘self-care’ – their ability to provide for their own needs and service their own ambitions” [Brown 2006, 690–714]. Women control their diet and prevent overeating not simply as docile bodies, rather as free agents who assume responsibilities and enjoy the exercise of freedom.

As free agents who choose from the variety of lifestyle alternatives, women become auto-regularized subjects knowing that a sick or a healthy body is the consequence of their personal choice. Enterprising subjects are compelled to take responsibility for managing the risk of their choices, therefore their healthy lifestyle choice benefits the state to enjoy healthy human capital, in this case thin and fit Russian women.

Responsibilization is encouraging individuals to self-management. The state establishes boundaries for such self-managements so that it “underscores the duty of the prudent and rational citizen to avoid becoming a burden on others” [Brown & Baker 2013, 19]. While in the pastoral model of governing, the shepherd is responsible for each and all flock [Foucault 2007, 171], neoliberal governmentality “transfers responsibility to individuals” [Lemke 2004, 13–26]. The state, however, is not deresponsibilized when individuals are in charge of their health. The state must “propagate risk knowledge with the aim of increasing individual capacity for what the state deems as responsible free choice” [Brown & Baker 2013, 20], such as the obligation of legible food labeling. In 2018, a voluntary color labeling of food products, called “Traffic Light”, began to operate in Russia. Depending on the sugar, salt, fat and caloric content of the food, a red, yellow, or green precautionary label is applied to the package. It informs the consumer what they are eating [Kunle 2018]. Development of a healthy food concept [Gavrilova, Bessonova, Smirnova 2015, 405–406] is another example of the steps taken by the state to direct Russians toward a healthy diet. In Russia, the state pays considerable attention to the formation of a healthy lifestyle, increasing the responsibility of citizens for their health. In accordance with the Presidential Decree On National Goals and Strategic Objectives

for the Development of the Russian Federation for the Period up to 2024, in May 2018, they established the program of formation of a system of motivating citizens to a healthy lifestyle, including healthy eating and rejection of unhealthy habits [Grigorieva & Chubarova 2020, 112–124].

Conducting women to control their obesity can be seen as a technique of biopolitics to prevent most common diseases related to obesity, such as high risk of infertility, high cholesterol, diabetes, etc. Knowledge produced by dominant discourses such as advertisements about healthy body, along with availability of unlimited healthy lifestyle choices in free market direct women to conduct their conduct in a state-desired way so that the state can benefit from a healthy race and a labor force who rarely need to use state health insurance.

Drinking is another issue to be considered in the study of health care. Drinking norms in Russia are gendered, reflecting the image of traditional gender stereotypes. Hard liquor consumption, which is historically rooted in Soviet culture of working men's socialization with colleagues, constitutes a male identity as the breadwinner [Minagawa 2011, 1–27]. Nevertheless, women, identified with their caring and nurturing roles, are disdained as immoral, loose and sexually approachable if drunk [Bobrova et al., 2010, 573–580]. Immoderate drinking that restrains them from family responsibilities is a deviation of gender norms, while to have the subjectivity of an accepted woman they can enjoy a moderate amount of wine or beer. Russian women drink non-hard liquor in lesser amounts than men do [Cockerham 2012, 943–957].

There are some cases that Russian alcohol market in alignment with traditional gender norms produces gendered liquors, which can be regarded as reiteration of heteronormativity. Vodka free and low-calorie Smirnoff drink for women in girlish packaging is a feminized beverage. VladBeer, a beer proper for female characteristic, Dolce Iris Rosso, a women's beer, are other examples of non-hard liquors especially for women. On the contrary, Damskaya Vodka especially for women in elegant bottles has aroused anger among medical and religious authorities, who believe that hard liquor for women not only threatens the health of their own bodies, but also threatens the entire future of the population of the country¹. While the production of vodka for women indicates the gradual subversion of vodka's masculinization, the gendered drinking patterns still survive.

¹ See: Priest Alexy Moroz: "This is an advertisement of poison." *Russkaya Narodnaya Liniya*, Information and Analytical Service. 18 August 2008. https://ruskline.ru/news_rl/2008/03/18/ierej_aleksij_moroz_to_reklama_yada/ (In Russian).

The increasing premature mortality, mainly among men, associated with alcohol consumption has been a threatening demographic crisis in Russia [Kuznetsova 2020, 75–95]. The growth of the alcohol market from 1991 to 2005 was unprecedented increasing from 7 liters to 12.3 per capita annually, when measures were taken to leash it. [Danilova et al. 2020, 790–796]. In March 2005, a law was passed on limitations of the retail sale and consumption of beer and beverages [Nemtsov 2012, 366].

There sounds a kind of a paradox between the state's ultimate objective of pursuing population's health and individuals' free access to alcohol as a risk factor of some diseases and even mortality. Considering neoliberal rationality, we can claim that, in case of alcohol, or any other unhealthy products, it is neither the state nor the market that is responsible for the effects; rather, the individual, as the rational agent choosing rationally, is in charge of it. The state must establish policies to increase people's responsibility to conduct them toward auto-regulation. Today, throughout the world, including in Russia, excessive, immoderate drinking is opposed to the accepted norm of moderate, responsible drinking. An individual being a product of a discourse that deems responsible drinking to gain viability chooses moderation. Unlike the free access, the individual has learnt that since she is freely choosing, she is in charge of the outcomes; therefore, the auto-monitoring subject is conducted toward a rational choice, which is the norm of responsible drinking. Responsible subjects benefit the state to control the demographic crisis associated with excessive alcohol consumption.

It is biopolitics techniques that conduct people toward moderate and responsible drinking, not as obliged but willing subjects, who, unlike free access, conduct their pleasures toward the state-proven way.

Beauty care of Russian women

Here, we survey how regularization of Russian women's bodies based on beauty standards can be regarded as a technique of biopolitics.

Feminine beauty has been an essential feature of the Russian woman's identity. Unlike the Soviet-enforced model of a woman as a defeminized carer and matriarch" [Cvajner 2019, 230], feminine beauty was still important to Soviet women, for whom performing beauty care would identify them as the accepted female gender [Porteous 2018, 413–428]. However, due to a limited access to beauty products and the centrality of family care and occupation, self-care was overlooked.

After the collapse of the USSR, the Russian beauty myth flourished with the overflow of beauty care products in the market. The torrent of beauty products in Russia was nearly coincident with global market's shift to a sexual depiction of female body, expressing pleasure, empowerment and self-care, rather than passivity or oppression [Gill 2009, 93–110].

To reinforce heteronormative stereotypes, Russian advertisements depict women essentially appealing, along with other innate features ascribed to women such as relying on men, "deficient in knowledge and fearful. They stress that beauty is an attribute that is essential for women" [Konstantinovskaia 2020, 55–56]. Advertisement models demonstrate perfect man-pleasing female bodies who have made up a possible imperfection with a special product. In Russian advertisements "women look like top models: their faces are stunningly beautiful and bodies are perfect and thin; their postures and movements are often sexually provocative. They are portrayed as sexually desirable". [Proshina & Ustinova 2019, 206]. An idealized female body is depicted as charming, luxurious, flawless, well groomed, brilliant, excellent, free and cheerful. In most of the advertisements, women gaining perfection win acceptability from men because the ideal woman is the conqueror of men's hearts [Keyzik 2015, 169–171].

Beauty care, mainly associated with female body, stresses gender division and heteronormativity. It is assessed that, Russian women more than men invest in their beauty regarding it as a product of exchange to increase their supply power to win a relationship and future family [Dana & Regina 2020, 494–502]. Attribution of especial features to women as their essential nature sustains heteronormativity. Heteronormative regularization of bodies and thereby heterosexuality can be regarded as a technique of Russian biopolitics to deal with its demographic crisis.

The constructed truth about female beauty naturalizes attractiveness as the essential norm of a feminine body, while the deviant body has to be corrected to gain acceptable subjectivity. Beauty care, to put it in Derrida's words, is the signifier of femininity, or, in Butler's words, it can be regarded as a gender performance. Women as products of a discourse that values the female erotic body reiterate the norms of the discourse reassuring the sustainability of the discourse that promulgates heteronormativity. Long acknowledges, "Neoliberal processes have been wrought on the body, and have formed an effective oppression against 'deviant' bodies that do not, or cannot, maintain the idealized, heterosexual and able-bodied, neoliberal figure" [Long 2018, 78–93]. Neoliberal

market valorizes individuality, empowerment, social and economic success, which all can be achieved by women's self-care and regularization of body. An ideal neoliberal enterprising subject is not only "an employee or student, but also simultaneously a product to be sold, a walking advertisement, a manager of [their] résumé, a biographer of [their] rationales, and an entrepreneur of [their] possibilities [...] provisionally buying the person [they] must soon become" [Mirowski 2013, 108].

Russian women, imbued with an aspiration to standard beauty, encountering the diversity of beauty products in the free market, participate in the consumer culture. Today, cosmetic use [Sinyavskaya 2019–2020, 10–12], and tendency to aesthetic surgery [Kochubey 2019, 78–80] are growing among Russian women. According to an ISIPS international survey, Russian women occupy the global 4th rank of breast augmentation, liposuction, abdominoplasty, and the global 5th rank of rhinoplasty and eyelid surgery².

As an enterprising subject, a woman consumes beauty products, investing her time and money on her human capital to gain the body image that satisfies her. Foucault writes, "The man of consumption, insofar as he consumes, is a producer... He produces his own satisfaction. We should think of consumption as an enterprise activity by which the individual, precisely on the basis of the capital he has at his disposal, will produce something that will be his own satisfaction" [Foucault, Davidson, & Burchell 2008, 226]. Women, through investing in their human capital, are gaining the accepted female subjectivity as well as social and economic success. According to recent researches, for Russian women, an ideal physical beauty is a pathway toward social achievements. Feminine beauty and an ideal appearance are valued in professional arenas as a capital. Therefore, women invest in their physical appearance as a human resource to achieve their social and economic ambitions. In Russian advertisements, a groomed, ideal body is a socially active woman, not a passive victim of family care [Ustinova 2019, 404–416]. The individualistic self-caring ideals of a female entrepreneur who concerns about self-care is empowered by her body regularization, compensating the passive nurturing self they used to suffer from. Hofmann elaborates how women using their bodies invest and enhance their erotic capital as corporeal entrepreneurs to overcome their socio-economic marginalization [Hofmann 2010, 233–256].

² See: International Society of Aesthetic Plastic Surgery. ISAPS Global Statistics. <https://www.isaps.org/wp-content/uploads/2020/12/Global-Survey-2019.pdf>

Women as free agents choosing in the free market the way that they can invest in their human capital feel responsibility over their own project of body regularization. Davidenko upholds that Russian women make free choices to subject themselves to body regularizations. If they cannot match current ideals of beauty, they suffer from hate toward their bodies [Davidenko 2019, 609–628].

The body which has reached its high perfection via various commodity solutions is no more a passive objectified body, rather this controlled body represents an autonomous empowered viable subjectivity. “A sleek, controlled figure is today essential for portraying success ... Today, the body is portrayed in advertising and in many other parts of the media as the primary source of women’s capital” [Gill 2008, 35–60]. Women have invoked their physical beauty to give voice to their neglected social existence. No more as objects serving the desires of others, they can enjoy the individualistic desire of self-care which also promises them the social visibility that males have been enjoying throughout the centuries. Morgan writes, “cosmetic surgeries give women a sense of self-identity as they chose, and senses of self-esteem and self-fulfillment. It gives them social and economic promotion” [Morgan 1991, 25–53].

At the surface level, women, appealing to free choice among the verity, are enjoying their autonomy in deciding their way of self-presentation, and enjoying their identity as accepted normal subjects. However, they are taking the sugarcoated regulatory values of neoliberalism and performing the norms of a heteronormative discourse. The seemingly emancipatory role of feminine beauty presentation operates not as egalitarian female/male subjectification; rather this is a new form of pressure over women, the pressure of beauty and being under surveillance. Wolf asserts that women, unlike being emancipated from domesticity, are entangled in the new ideology of feminine beauty, which is the “modern version” of social control. The represented “images of female beauty [are] a political weapon against women’s advancement”. She affirms that the infused “notion of beauty” poisons the freedom of socially prosperous woman, leaving her in a “dark vein of self-hatred, physical obsessions, terror of aging”. She defines this situation a new form of male dominance [Wolf 1991, 10].

According to a Russian research, today, Russian women, already subject to their traditional ideals of femininity, are further influenced by both market and media propaganda. It is asserted that marriage occupies a priority for Russian women and a reason for their beauty care [Ruzova & Kalinina 2019, 108–117]. The prolonged ideal of marriage

proves effective biopolitical techniques in sustaining sex differences, constructing the truth of women's essential beauty and propelling them toward investing in their beauty care.

Marketization of beauty creates a sense of competition among individuals who desire to get access to beauty commodity in order to achieve self-satisfaction and social promotion. Discussing the unspoken rules of femininity, Davidenko acknowledges that Female beauty as a socially valued capital is converted to other types of resources such as "employment, business success or useful connections" [Davidenko 2014].

To be an approved woman, one needs to buy beauty. The more they pay, the more they feel satisfaction. Thus, beauty designating a social class inspires individuals to get more of that commodified beauty as they aspire to get other commodities to enjoy a higher social level and a better life condition. Manicured nails point to the social class signifying that self-care and self-beautification are vital for social and economic success.

The stereotype of a completely special Russian appearance, according to anthropological parameters, turns out to be a myth that is explicated in the language and culture of Russians. Most Russians believe that Russians with lighter eyes, fair skin and hair are distinct from Western Europeans [Shlyakhova 2015]. This beauty myth burdening Russian woman with more responsibility of beautification can enhance the visual superiority of Russian race.

Women's self-beautification is the biopolitical objective, which views beauty as an index of racial improvement. Biopolitics addressing women's body produces certain bodies as qualified. Conducting women to self-beautification contributes to the maintenance of the ideal of beauty of Russian population as a privilege of Russian race. The mentioned increased use of cosmetics and aesthetic surgeries verifies women's beauty concerns to correct any imperfection deviating from the valued standard of Russianness.

Women's quest for beauty is driven by various discourses, including marketing, to prove sex difference and the homogenous beauty of the Russian woman.

Conclusion

The research surveyed Russian women's health and beauty care as conducted by Russian biopolitics. It established how and why women's beauty and health care is conducted by dominant discourses.

A general outlook of the research gives a triangle of biopolitical rationality, neoliberal market, and women. Neoliberal market providing diversity of choices promulgates freedom of choice. At the same time, the marketization of health and beauty creates individualism and competence among women who desire to buy the commodified health and beauty. Furthermore, the advertising discourse of the market constitutes the knowledge about the normal viable subject. The idealized female body is depicted as fit, thin, healthy, attractive, socially successful, and a conqueror of men's heart.

Women as enterprising subjects consume health and beauty products, investing in their human capital to gain the body image that satisfies them. Body as the primary resource of capital for women promises them social visibility, individuality and acceptable subjectivity. Self-monitored subjects are conducted to be healthy and attractive or else they are abjected.

The biopolitical rationality of the state addresses health, longevity, and propagation of the population. It values female body as both the labor force and the producer of future Russian race. Conducting women toward a healthy diet and moderate drinking, the state enjoys a healthy labor force. On the other hand, naturalization of sex difference by highlighting the essentially fit and attractive female body promises heterosexuality and obviously propagation. Moreover, conducting women toward beauty care assures the maintenance of the myth of Russian women's stunning beauty. The beautified Russian woman's body can mirror the superiority of race.

Health and beauty cares defined as essential features of femininity highlight sex differences sustaining the traditional gender borders, heteronormativity, and accordingly heterosexuality. The reiteration of heteronormativity in all three sides of the mentioned triangle manifests that Russia invokes to sustain traditional heteronormativity as a technique for managing the critical demographic situation.

REFERENCES

- Bobrova et al. 2010 – Bobrova, N., West, R., Malyutina, D., Malyutina, S., & Bobak, M. (2010). Gender Differences in Drinking Practices in Middle Aged and Older Russians. *Oxford Journals Alcohol and Alcoholism*, 45 (6), 573–580.
- Brown 2006 – Brown, W. (2006). American nightmare: Neoliberalism, neoconservatism and dedemocratization. *Political Theory*, 6, 690–714.

- Brown & Baker 2013 – Brown, B. J., & Baker, S. (2013). *Responsible citizens: Individuals, health and policy under neoliberalism*. Anthem Press.
- Cockerham 2012 – Cockerham, W. C. (2012). The intersection of life expectancy and gender in a transitional state: The case of Russia. *Sociology of Health & Illness*, 34 (6), 943–957.
- Cvajner 2019 – Cvajner, M. (2019). *Soviet signoras: Personal and collective transformations in Eastern European migration*. University of Chicago Press.
- Dana & Regina 2020 – Dana, R. B., & Regina, N. P. (2020). Why are Russian women stunning? : General perspective on men deficiency in Russia and its Effect on female premarital investments. *International Journal of Scientific and Research Publications (IJSRP)*, 10 (2), 494–502.
- Danilova et al. 2020 – Danilova, I., Shkolnikov, V. M., Andreev, E., & Leon, D. A. (2020). The changing relation between alcohol and life expectancy in Russia in 1965–2017. *Drug and Alcohol Review*, 39, 790–796.
- Davidenko 2014 – Davidenko, M. (2014). *The capital of beauty at work: Russian women's negotiation of unspoken rules*. Report presented at TASA 2014 Conference. https://www.academia.edu/10885260/The_capital_of_beauty_at_work_Russian_womens_negotiation_of_unspoken_rules
- Davidenko 2019 – Davidenko, M. (2019). The ambiguities of self-governance: Russian middle-aged middle-class women's reflections on ageing. *Ageing & Society*, 39 (3), 609– 628.
- Dean 2009 – Dean, J. (2009). *Democracy and other neoliberal fantasies: Communicative capitalism and left politics*. Duke University Press.
- Foucault 1978 – Foucault, M. (1978). *History of sexuality* (vol. 1). Pantheon Books.
- Foucault 1995 – Foucault, M. (1995). *Discipline and punish: The birth of the prison*. New York: Vintage Books.
- Foucault 2004 – Foucault, M. (2004). *Society must be defended: Lectures at the Collège de France 1975–1976*. Trans. by David Macey. Penguin Books.
- Foucault 2007 – Foucault, M. (2007). *Security, territory, population: Lectures at the Collège de France, 1977–78*. Edited by Michel Senellart. Translated by Graham Burchell. Palgrave Macmillan.
- Foucault, Davidson, & Burchell 2008 – Foucault, M., Davidson, A., & Burchell, G. (2008). *The birth of biopolitics: Lectures at the Collège de France, 1978–1979*. Palgrave Macmillan UK.
- Gavrilova, Bessonova, & Smirnova 2015 – Gavrilova, Yu. A., Bessonova, O. V., & Smirnova, N. A. (2015). Development of the concept of healthy eating in Russia: Problems and prospects. *Mezhdunarodnyy*

- Zhurnal Eksperimental'nogo Obrazovaniya*, 2–3, 405–406. <http://www.expeducation.ru/ru/article/view?id=6636> (In Russian).
- Gill 2008 – Gill, R. (2008). Empowerment/sexism: Figuring female sexual agency in contemporary advertising. *Feminism & Psychology*, 18 (1), 35–60.
- Gill 2009 – Gill, R. (2009). Supersexualise me! Advertising and the midriffs. In F. Attwood (Ed.), *Mainstreaming sex: The sexualisation of Western culture*. I. B. Tauris & Co. Ltd.
- Grigorieva & Chubarova 2020 – Grigorieva, N. S., & Chubarova, T. V. (2020). Health promotion in the context of behavioral economics: Gender aspect. *Narodonaselenie*, 23 (2), 112–124. (In Russian).
- Hofmann 2010 – Hofmann, S. (2010). Corporeal entrepreneurialism and neoliberal agency in the sex trade at the US-Mexican border. *Women's Studies Quarterly*, 38 (3/4), 233–256.
- Jakob & Sven-Olov 2013 – Jakob, N., & Sven-Olov, W. (2013). *Foucault, biopolitics, and governmentality*. Sodertorn Philosophical Studies.
- Keyzik 2015 – Keyzik, A. S. (2015). Managing the image of an “ideal woman” in cosmetic advertising discourse. *Paradigmata Poznani*, 4, 169–171. (In Russian).
- Kochubey 2019 – Kochubey, V. V. (2019). The demand among Russian Women in plastic aesthetic surgery. *Moscow Surgical Journal*, 3, 77–80. (In Russian.)
- Kolosnitsyna & Dubynina 2019 – Kolosnitsyna, M. G., & Dubynina, A. I. (2019). Anti-alcohol policy in modern Russia: Directions of development and support of the population. *Zhurnal Novoy Ekonomicheskoy Assotsiatsii*, 2 (42), 94–120. (In Russian).
- Konstantinovskaia 2020 – Konstantinovskaia, N. (2020). *The language of feminine beauty in Russian and Japanese Societies*. Palgrave Macmillan.
- Kontsevaya et al. 2020 – Kontsevaya, A., et al. (2020). The extent and nature of television food advertising to children and adolescents in the Russian Federation. *Public Health Nutrition*, 23 (11), 1868–1876. <https://www.cambridge.org/core/journals/public-health-nutrition/article/extent-and-nature-of-television-food-advertising-to-children-and-adolescents-in-the-russian-federation/3E35A68BC37367CA4D2CAADFCD1BCB81>
- Kunle 2018 – Kunle, M. (2018, July 19). Fashion for health. *Vedomosti*. <https://www.vedomosti.ru/partner/articles/2018/07/19/775921-moda-zdorove> (In Russian).
- Kuznetsova 2020 – Kuznetsova, P. O. (2020). Alcohol mortality in Russia: Assessment with representative survey data. *Population and Economics*, 4 (3), 75–95.

- Lemke 2004 – Lemke, T. (2004). “Marx without Quotation-Marks”: Foucault, Governability, and the Critique of Neoliberalism: Translated from English by Marc Chemali. *Actuel Marx*, 36, 13–26. <https://doi.org/10.3917/amx.036.0013>
- Loktev 2017 – Loktev, K. (2017, August 14). *Healthy eating trend: Which strategy to choose for the manufacturer*. Nielsen Russia. <https://www.nielsen.com/ru/ru/insights/article/2017/health-revolution-what-strategies-should-producers-choose/> (In Russian).
- Long 2018 – Long, R. (2018). Sexual subjectivities within neoliberalism: Can queer and crip engagements offer an alternative praxis? *Journal of International Women's Studies*, 19 (1), 78–93.
- Minagawa 2011 – Minagawa, Y. (2011, April 1). *Gender differences in drinking behavior: An analysis of a major cause of the mortality crisis in contemporary Russia* (pp. 1–27). <https://paa2011.princeton.edu/papers/111521>
- Mirowski 2013 – Mirowski, P. (2013). *Never let a serious crisis go to waste: How neoliberalism survived the financial meltdown*. Verso.
- Morgan 1991 – Morgan, K. P. (1991). Women and the knife: Cosmetic surgery and the colonization of women's bodies. *Hypatia*, 6 (3), 25–53.
- Nemtsov 2012 – Nemtsov, A. (2012). A contemporary history of alcohol in Russia. *Alcohol and Alcoholism*, 47 (3).
- Nesvetailova 2005 – Nesvetailova, A. (2005). Globalization and post-Soviet capitalism: Internalizing neoliberalism in Russia. In A. Soederberg, G. Menz, & P. G. Cerny (Eds.), *Internalizing globalization. International Political Economy Series*. Palgrave Macmillan.
- Porteous 2018 – Porteous, H. (2018). A woman isn't a woman when she's not concerned about the way she looks': Beauty labour and femininity in post-Soviet Russia. In M. Ilic (Ed.), *The Palgrave handbook of women and gender in twentieth-century Russia and the Soviet Union*. Palgrave Macmillan UK.
- Proshina & Ustinova 2019 – Proshina, Z. & Ustinova, I. (2019). Resistance to and gain in the world Englishes paradigm. In Z. Proshina, & A. Eddy (Eds.), *Russian English history, functions, and features*. Cambridge UP.
- Ruzova & Kalinina 2019 – Ruzova, L. A., & Kalinina, D. S. (2019). The problem of homosexuality in the aspect of social relations. *Sovremennye Issledovaniya Sotsial'nykh Problem*, 11 (1–3), 108–117. (In Russian).
- Shlyakhova 2015 – Shlyakhova, S. S. (2015). Russian beauty three hundred years later: Ethnic auto and heterostereotypes in advertising. Part II. Heterostereotypes. *Mediascope – Mediascope*, 4. <http://www.mediascope.ru/1944> (In Russian).

- Sinyavskaya 2019–2020 – Sinyavskaya, A. (2019–2020). Perfumery and cosmetics chains increase market share. *Cosmetics in Russia*. pp. 10–12. <https://www.kdm-international.com/wp-content/uploads/2019/11/Cosmetics-in-Russia-2019-2020-Info-mercato.pdf>
- Ustinova 2019 – Ustinova, I. (2019). The local and global imagery of women in Russian advertising. *World Englishes*, 38, 404–416.
- Vlasova 2020 – Vlasova, I. (2020, September 30) Tried a healthy lifestyle: The trend for healthy eating has reached the regions. <https://m.gazeta.ru/business/2020/09/30/13274215.shtml> (In Russian).
- Wolf 1991 – Wolf, N. (1991). *The beauty myth how images of beauty are used against women*. Vintage.

Материал поступил в редакцию 18.02.2021

Материал поступил в редакцию после рецензирования 07.07.2021

«КРОТКАЯ» РОБЕРА БРЕССОНА

К. А. Родин

Институт философии и права СО РАН, Новосибирск, Россия
rodin.kir@gmail.com

Отказ Робера Брессона от распространенных театральных форм адаптации текста и использование оригинальных авторских выразительных средств в кино при экранизации произведений литературы позволяют говорить об отдельном режиссерском пространстве интерпретации текстов, которое во многом отличается от пространства литературоведческих или театральных прочтений. Изобретенный Брессоном авторский стиль в кино позволяет незаметно, но радикально изменить нарративную структуру экранизируемого произведения и одновременно сохранить верность духу исходного текста (в понимании режиссера). Поэтому любая экранизация Брессона интересна в качестве оригинального прочтения, которое выходит за пределы обычной адаптации. В статье прослежены авторские способы трансформации и одновременно сохранения духа экранизируемого произведения на примере фильма «Кроткая» по одноименной новелле Ф. М. Достоевского.

В первой части статьи мы предлагаем имманентный анализ новеллы Достоевского и пытаемся показать метасюжетный характер основной интриги. Главный герой и одновременно рассказчик ведет монолог в попытках уяснить истину произошедшего события (самоубийство Кроткой) и определить собственную степень вины. Наряду с другими подпольными типами и персонажами автора главный герой путается в собственном сознании и колеблется между саморазоблачением (признанием вины перед Кроткой) и самооправданием. На фоне монолога главного героя (диегетического нарратора) молчание Кроткой вместе с недосказанностью мотивов поведения и пунктирной прорисовкой характера Кроткой становится ключевым элементом в структуре повествования. Мы показываем несостоятельность интерпретационных попыток прервать молчание Кроткой в стремлении объяснить характер или поступок героини. Уделяется особое внимание контексту замечаний Достоевского про различные типы самоубийства из «Дневника писателя» и показывается невозможность объяснить поступок Кроткой никакими объяснительными схемами (которые всегда работают в случае с другими персонажами-самоубийцами Достоевского).

В заключительной части статьи с опорой на интервью Брессона мы последовательно прослеживаем трансформацию экранизируемого текста при стремлении «сохранить главное» (по замечанию Брессона). Так, в фильме

стирание черт подпольного сознания героя и снижение роли диегетического повествования (без чего невозможно представить метасюжетную основу новеллы) оставляют нетронутой недосказанность характера Кроткой и неясность мотивов самоубийства. При радикальной трансформации новеллы Брессон сохраняет молчание Кроткой в качестве структурно определяющего элемента. Одновременно недосказанность характера и неясность мотивов Кроткой указывают на непреодолимую пропасть между возможными объяснительными схемами и толкающим к самоубийству надрывом и чувством невозможности жить. Брессон также воспроизводит неясность и неопределенность главного героя на фоне отчаяния и запоздалого признания вины.

Ключевые слова: Достоевский, Брессон, подпольное сознание, самоубийство, диегетический нарратор.

A GENTLE WOMAN BY ROBERT BRESSON

Kirill A. Rodin

Institute of Philosophy and Law, Siberian Branch
of the Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, Russia
rodin.kir@gmail.com

As known, Robert Bresson rejects the widespread theatrical forms of film adaptation of a literary text. The use of author's expressive means in cinema creates a separate, unique (characteristic almost exclusively for Bresson) space for the interpretation of literary texts. Bresson's style in cinema makes it possible to change (transform) the narrative structure of the text being filmed subtly but radically and, at the same time, to remain faithful to the spirit of the original text. So, any Bresson adaptation is interesting also as an original reading (in many ways different from literary or theatrical readings). In the article, I trace the author's methods of transforming and at the same time preserving the spirit of the screened work on the example of the film *A Gentle Woman* based on Fyodor Dostoevsky's story "A Gentle Creature" or (sometimes translated as) "The Meek One". In the first part of the article, I offer an immanent analysis of the story and try to show the meta-plot nature of the main intrigue (at the plot level, the decisive events are immediately known and do not constitute any intrigue). The main character and at the same time the narrator leads a monologue (the story is exhausted by the narrator's monologue) to clarify the truth of the event (his wife's suicide) and determine his own degree of guilt. Along with other underground types and characters, the main character gets confused in his own mind and hesitates between self-exposure (admission of guilt to the Meek) and self-justification. Against the background of the monologue of the protagonist (the diegetic narrator), the silence of the Meek, together with

the uncertainty of the motives of her behavior and a very general description of her character, becomes an important key element in the structure of the narrative. I prove the inconsistency of interpretive attempts to break the silence of the Meek to explain her character or her suicide. In the second part of the article, I pay special attention to the context of Dostoevsky's remarks about various types of suicide from *A Writer's Diary* and show the impossibility of explaining the Meek's suicide by any logical or explanatory schemes (which always work in the case of other Dostoevsky's suicidal characters). For Dostoevsky, the Meek's suicide differs from the other described suicides and remains incredible and inexplicable. In the concluding part of the article, I consistently trace the transformation of the text in the film. The erasure of the traits of the hero's underground consciousness and the diminution of the role of diegetic narration (without which it is impossible to imagine the meta-plot basis of the story) in the film leave intact the understatement of the Meek's character and the vagueness of the motives of her suicide. With the radical transformation of the story, Bresson retains the silence of the Meek as the main structural defining element. At the same time, the understatement of the character and the vagueness of the Meek's motives in the film point to an insurmountable gap between possible explanatory schemes and an anguish pushing towards a suicide and a feeling of impossibility to live. Bresson also reproduces the ambiguity and uncertainty of the protagonist against the background of despair and belated admission of his own guilt.

Keywords: Dostoevsky, Bresson, underground consciousness (man), suicide, diegetic narrator.

DOI 10.23951/2312-7899-2022-2-190-202

В 1876 году Ф. М. Достоевский «создает трагическую новеллу необычайной силы и неотразимой правды» [Гроссман 1965, 449]. Вынужденный из-за обвинения в трусости выйти в отставку и занявшийся не соответствующим собственному общественному положению делом ростовщичества главный герой ведет монолог самодознания подле трупа выбросившейся из окна жены. Сознание отчаяния смешивается с желанием уяснить правду собственного отношения к жене в надежде вскрыть причины произошедшего события. В процессе самодознания главный герой постоянно рассказывает между самоосуждением и самооправданием.

В 1969 году выходит фильм Брессона по новелле Достоевского, в которой Брессон многое изменил. В надежде прочитать новеллу вместе с фильмом в качестве единого текста мы проследим наиболее существенные изменения.

Вне строго литературоведческих или киноведческих прочтений часто обращают внимание на объяснение мотивов и выяснение степени виновности или невиновности героя. Самоубийство вместе с потребностью объяснить самоубийство иногда доводит читателя до странной завороченности. Однако в согласии с исповедальным и диалогическим характером поэтики (подробнее см.: [Бахтин 2002, 70]) главный герой от собственного лица предлагает исчерпывающее множество мотивов поведения и доходит от самооправдания до полного самоосуждения. И все равно будто оставлено открытым пространство гаданий: дошел ли герой до полного сознания собственной вины – или может быть оправдан (не трагическое ли стечение обстоятельств...). И может ли завершающее новеллу отчаяние героя вместо сочувствия вызывать осуждение (“One can read his sentiments at the end as no less selfish than they were earlier” [Pipolo 2010, 240])... В конце новеллы внимание героя смещается с сознания вины к сознанию собственного отчаяния и мертвости мира. Может ли существовать такой вариант самооправдания... Однако вопросы осуждения и поиска виноватого кажутся нам совершенным *misunderstanding*, что мы и попытаемся показать.

Кроткая не избежала общей судьбы. В большинстве прочтений закрепление вины за главным героем и признание жены жертвой оставляют нетронутым пространство поиска причин и мотивов самоубийства: Кроткая попадает в среду других персонажей-самоубийц и оценивается в контексте известных наблюдений из «Дневника писателя». Брессон – напротив – вполне отвечает отношению (замыслу) Достоевского и сохраняет «невероятный» характер самоубийства (не вписывает самоубийство ни в какую из возможных объяснительных схем). В каком-то смысле перед нами немотивированное самоубийство: чувство надрыва и невозможности жить превышает объяснительные возможности и не может выступать мотивом самоубийства. (По словам Тони Пиполо, “we can only speculate about her state of mind <...> does she imagine herself a martyr whose death will haunt and therefore punish the husband forever” [Pipolo 2010, 255].) Мотивы Кроткой не даны писателем и намеренно неизвестны из фильма. Мы постараемся показать: назначение такой неизвестности – не в продуцировании читательского интереса или морального воображения. В первой части мы проследим основной замысел и противоречие новеллы (как они нам видятся). Во второй – покажем отличие Кроткой от других персонажей-самоубийц Достоевского. В заключительной части мы попытаемся доказать верность прочтения Брессона замыслу Достоевского.

1. Итак. Внутренний монолог закладчика (главного героя новеллы) развертывается в постепенное сознание истины: «Закоренелый ипохондрик <...> рассказывает дело». И «истина открывается несчастному» [Достоевский 1982а, 5] (далее контекстные цитаты из новеллы приводятся по указанному изданию). Вместе с главным героем нам предложено пройти путь раскрытия истины.

Поверим автору: внутренний монолог закладчика противоречив. «Грубость мысли и сердца» сочетается с «глубоким чувством». Основное противоречие – между самооправданием и самоосуждением (то есть саморазоблачением и уяснением истины). Оно и составляет внутреннюю борьбу героя. Именно на фоне борьбы между самооправданием и самоосуждением в подпольном сознании закладчика развертывается воспоминание фактов совместной жизни и биографии.

Несколько характерных отрывков. Закладчик впервые обратил внимание на молодую девушку из-за странности приносимых на заклад вещей и из-за необычного поведения: Кроткая в сравнении с другими не спорила и не торговалась. Стыдилась бедности и не роптала. На остроу про заячью куцавейку ничем не ответила. Вспыхнула. «Но ни слова не выронила». Постепенно через некоторые «мысли» (сознательно избранную стратегию поведения) заинтересованность главного героя сменилась желанием испытать молодую девушку («третья особенная <...> мысль»). Закладчик узнал жизнь будущей жены и вступил в «любезный разговор с необычайной вежливостью». Испытание же состояло в рекомендации подать объявление о поиске места (девушка искала работу – деньги были нужны на публикацию объявлений) с указанием на возможность непристойного способа устроиться. «Вспыхнула»... «Мне очень понравилось». Так и сложились серия спланированных испытаний (наблюдений) и намерение взять кроткую в жены. Однако главное в рассказе – воспроизведение собственных настроений и состояний рассказчика.

Главный герой наслаждается сознанием собственного могущества и остается доволен сватовством: «говорил прилично <...> и оригинально» и вспоминал потом «с наслаждением». Тут и саморазоблачение: «...припомню и последнее свинство <...> в голове шевелилось: ты высок, строен, воспитан <...> ты недурен». После признания в довольстве подчинением невинной молодой девушки: «О, низкий, неловкий человек! О, как я был доволен!»

В третьей части первой главы и часто далее рассказчик отказывается от абсолютного саморазоблачения и меняет оценку собственно-

го поведения на оправдательную. Самоосуждение буквально через строчку переходит в самооправдание и *vice versa*. По ходу рассказа узнаем: Кроткая бросалась к мужу «с любовью, встречала, когда я приезжал по вечерам, с восторгом, рассказывала... про родительский дом, про отца и мать». Закладчик же «отвечал молчанием» и «бил на загадку». В сухом строгом молчании мужа девушка должна была распознать тайну и постепенно «догадаться о <...> человеке». За рассказчиком, по его словам, водились особенный тайный подвиг великодушия и известные страдания. И путем строгости, отстранения, молчания, через определенную систему отношений (напоминающую дрессировку) рассказчик принес Кроткую в жертву собственному вымышленному подвигу и великодушию: «...за мои страдания – и я стоил того». «Я хотел широкости». И даже так: «...возьмите-ка подвиг великодушия, трудный, тихий, неслышный, без блеску, с клеветой <...> много жертвы и ни капли славы». Собственная жизнь воображалась герою неразделяемым одиноким подвигом. Но вдруг по ходу рассказа снова возвращается самоосуждение: воображаемые великодушие и подвиг (одновременно выведенные из придуманного великодушия и подвига система жизни и правила взаимоотношений) сменяются пониманием настоящих причин произошедшего: гордости, обиды и ненависти за обиду. «Я всегда был горд».

Так мы погружаемся в главную интригу новеллы – следим за постепенным раскрытием истины. Верим автору (что в конце герой добирается до истины) и готовы поверить рассказчику. Возможные оценки произошедшего вписаны в рассказ и потому делают ненужной и даже невозможной оценку героя со стороны. Собственно, судит рассказчик. Из-за совершенно исчерпывающего отчета не следует ожидать какого-то отличного от позиции главного героя решения или наблюдения: в тексте нет указаний на неразрешенный или не до конца понятый и осознанный характер собственного положения и совершившихся событий. Остается только сочувствие (вместе с автором) главному герою или неприятие. (И неприятие неизбежно будет связано с отрицанием формул «единичного греха нет» и «все во всем виноваты».)

Следуем дальше. Открытость и признательность девушки не находят никакого отклика и наталкиваются на прямую безжалостность и строгость. Из гордости (которая в униженном и оскорбленном сознании рассказчика трансформировалась в сознание великодушия и подвига) герой не успевает вовремя заметить надвигающуюся беду: «Смелей, человек, и будь горд! Не ты виноват!» Здесь изначальный

разлад. Ссоры и конфликты возникают и оцениваются (искажаются) внутри формы разлада – внутри некоторого, взятого героем за благодетельное, неравенства и чувства великодушного превосходства. Постепенно девушка замыкается в молчании. «Бунтует». Выясняет прошлую жизнь супруга и вступает в сомнительное общение с Ефимовичем (в прошлом – обидчиком мужа). Свидание Кроткой с Ефимовичем герой объясняет напускной и порывистой ненавистью. По словам рассказчика, на свидании девушка держится с уверенностью и достоинством и ясно видит существо Ефимовича. Однако впоследствии герой никак не меняет поведение и только сознательно усиливает и закрепляет наметившееся отдаление – особенно после странного происшествия с приставленным к виску револьвером. Герой оценивает приставленный к виску револьвер как некоторую форму противостояния и в собственном поведении усматривает доказательство смелости (в собственных глазах искупает перед женой трусливый поступок из прошлой жизни). Кроткая должна заметить смелость и «быть навеки побеждена». Кроткая «слишком потрясена и слишком побеждена». Герой снова «доволен».

Потом мы узнаём полную историю «потери репутации» и выхода главного героя из полка – историю «технической несправедливости» – и последовавшего унижительного занятия ростовщичеством из мечтаний достойной и великодушной жизни впоследствии. Но рассказчик не меняется. «Идея неравенства нашего нравилась». Только после самоубийства Кроткой наступает окончательное саморазоблачение: «Но пелена <...> слепила мой ум». Оправдание собственного поведения (сохраняющееся и временами даже торжествующее по ходу рассказа) постепенно сменяется саморазоблачением и ясным сознанием во второй и третьей частях второй главы. Перемена происходит из-за обращения внимания на другого (в первый раз вместо внимания к собственным поступкам и мыслям). Закладчика вдруг удивляет пение Кроткой. Внимание героя сосредоточивается на стремлении понять жену и осознании собственных горьких заблуждений. Кроткая становится умной и понимающей (Кроткая и была такой: с первого разговора интуитивно угадала в закладчике затаенную мстительную обиду).

Предотвратить самоубийство жены главный герой не успел: «...поспешил, слишком, слишком». Поспешил безоговорочно сделать жену другом и не заметил никуда не девшиеся страх и надлом. Открывшаяся истина («сияло новое!») саморазоблачения помешала до конца видеть настроение другого. Не хватило внимания. И последняя правда в словах: «Измучил я ее – вот что!».

С рассказчиком более или менее понятно. Мотивы поступка Кроткой до конца понять нельзя. Из новеллы известны лишь фрагменты биографии и только некоторые черты характера девушки. Поэтому и нельзя последовательно проследить характер и как-то окончательно решить поступок самоубийства. Тезис Гроссмана «в новелле раскрываются две судьбы в <...> полном развитии (что исключалось техникой новеллы)» не совсем верный. Кроме того, нужно помнить, что в центре повествования лежит не поступок Кроткой, но уяснение истины главным героем и непосредственно главный герой в ситуации путешествия по собственному сознанию и памяти. Главный герой отстранил и обидел, заставил на какое-то время ненавидеть и измучил Кроткую.

2. По словам А. Аллена, в сочинениях Достоевского самоубийство «принимает разные формы и объясняется иногда противоречивыми <...> и совершенно противоположными причинами» [Аллен 2000, 228]. Аллен даже выстраивает некоторую условную типологию самоубийц Достоевского.

Самоубийцы от скуки (первая условная группа). Так, Достоевский слышит в предсмертной записке дочери «одного известного русского эмигранта» (Герцена) «вызов, может быть, негодование <...> на бессодержательность жизни». «Слышится душа, именно возмущившаяся против “прямолинейности”». «Просто умерла <...> с страданием, так сказать, животным и безотчетным <...> стало душно жить <...> как бы воздуху не достало. <...> не вынесла прямолинейности» [Достоевский 1981а, 145–146]. Достоевский точно схватывает тон и настроение предсмертной записки («гадкий и грубый шик») и отказывает самоубийце в «сознательном сомнении» (в полном и ясном сознании собственных настроений и побудительных причин). Под прямолинейностью подразумевается отсутствие способности противостоять «холодному мраку» некоторых высших идеалов. В «Дневнике писателя» логика описанного самоубийства объясняется через другую предсмертную записку воображаемого самоубийцы. Некий N. N. из «Приговора» сознает собственное сознание как сознание, неизбежно страдающее: «...сознание <...> есть именно не гармония». Сознает «вечные и мертвые законы природы» и не может «быть счастлив под условием грозящего <...> нуля» [Достоевский 1981б, 146–147]. В логике самоубийцы конечность страдающего сознания (и сознание не может не быть страдающим) противопоставлена тупой бессмысленности животной жизни (соглашаются и радуются жить только «которые похожи на животных и ближе

подходят под их тип по малому развитию сознания»). И никакого оправдания страданию и конечности сознания найти невозможно. Подобная логика разворачивается в некоторый *circulus in definiendo*. N. N. одновременно подсудимый и судья. Сознание сознает бессмысленность сознания и собственного страдания. Бессмысленность сознания производит в ответ сознающее страдание и страдающее сознание. Собственная тюрьма сознания представляется унижительной. «Единственно от скуки сносить тиранию» N. N. кончает с жизнью. Внутри подозрительно универсальной логики N. N. возможно развернуть многообразный спектр мотивов и настроений от обиды на мир до злости на людей и ненависти к себе.

Достоевский, помимо самоубийства, видит только один выход из необъяснимого страдания и конечности сознания. «Беда единственно лишь в потере веры в бессмертие». Из логического самоубийства следует: «...без веры в <...> бессмертие <...> бытие человека неестественно, невыносимо и невыносимо». Остается «неминуемое убеждение в совершенной нелепости существования человеческого на земле». «Мой самоубийца <...> именно страстный выразитель <...> идеи <...> необходимости самоубийства». И за вычетом идеи бессмертия «опровергнуть невозможно». Идея бессмертия есть «сама <...> живая жизнь, окончательная формула и главный источник истины и правильного сознания для человечества». Хотя бы и бессознательно типичный самоубийца все равно умирает от «тоски <...> по высшему смыслу жизни». «непрерывно от духовной тоски и много мучившись» [Достоевский 1982б, 46–50].

Итак, вот первая группа самоубийц: вследствие отказа от высшего смысла и веры в моральные идеалы и бессмертия души (вместе с чувством бессмысленности жизни или вместе с пресыщенностью и скукой). Например, пресыщенность Свидригайлова или пресность жизни для Ставрогина переходят в отрицание жизни (см. также: [Аллен 2000, 229–230]). «Слишком мелко <...> очень никогда не бывает <...> всегда мелко и вяло» [Достоевский 1974, 514].

Другая группа: самоубийства из идеи. Ипполит из «Идиота» и Кириллов из «Бесов». «Ипполит отличается душевной добротой и сочетанием высокого ума с порой чуть ли не детской наивностью» [Аллен 2000, 232]. Кириллов наделен чистосердечностью и нежностью. Некоторая связь героев (благодаря чертам характера) с «живой жизнью» никак не исчезает до степени полного отрицания жизни. Идейность самоубийства разбивается о все-таки неразрушимое не-одиночество героев. Поэтому логика идеи вступает в некоторое противоречие с жизнью. Через свежий воздух из открытой форточки

перед самым выстрелом Кириллова жизнь-таки получает некоторое символическое оправдание. А в Ипполите есть «любовь к людям и особое пристрастие к деревьям в листьях» [Аллен 2000, 233]. Самоубийство вызывает (или должно вызывать) сострадание к заразившимся «идейной» болезнью несчастным персонажам. Здесь связь с землей или природой (вместе с участливым общением) есть некоторое стихийное продолжение жизни и неотделенность сознания от стихии. Стихия может служить собирательным именем для обозначения чувства причастности природе (земле) и другим людям.

Самоубийство Кроткой – исключительное событие среди самоубийств других персонажей Достоевского: «...нет и следа пресыщения жизнью или экзистенциальной тоски от пресности бытия». Только лишенная отрицания «кротость в взрывном сочетании с отчаянием». И «обратный акт любви» [Аллен 2000, 230]. Последнее утверждение Аллена необычно – будто любовь может проявляться через некоторую изнанку и действовать обратным способом. Кроткая не лишена веры. Но «путь к стихии» отрезан (хотя текст новеллы никак не акцентирует отношение Кроткой со стихией жизни). Иногда в самоубийстве Кроткой видят странные вещи вроде «указания на высшую реальность» против мещанства и всепродажности. И часто применяют известную систему координат из связанных утверждений «человек только при встрече с другим может найти собственную индивидуальность и спасение» и одновременно самоубийство есть «сильнейшее доказательство невозможности достижения диалога» [Мароевич 2018, 48]. Самоубийство Кроткой не может быть подтверждением ни одного из связанных тезисов. В тексте совершенно нет таких указаний. Однако и привлечение соответствующих материалов из «Дневника писателя», как видно, не позволяет говорить о мотивах или причинах самоубийства (никакая из возможных логик и объяснительных схем не работает).

3. В отличие от многих восторженных читателей и интерпретаторов Брессон называет новеллу высокопарной и местами напыщенной. Но одновременно признается в безграничном восхищении Достоевским. В снятом по новелле фильме существенно изменены характеры героев и сюжетная основа: «Я взял из повести только самое главное» (подробнее см.: [Брессон 2017, 247]).

Изменение характеров. Рассказчик – не подпольный человек (по крайней мере не выраженный подпольный тип). Прошлая жизнь не объясняет особенностей характера героя. Мы не видим никакого развития или трансформации прошлой обиды, которая

полностью вычеркнута из фильма, в гордость или в другие черты характера. Режиссер сохранил неудовлетворенность героя сомнительной профессией и запоздавшее сознание гордости по отношению к жене. Герой не выдумывает идеалы будущей великодушной жизни (на будущее строит исключительно прагматические планы). Нет и внутренней подпольной борьбы самооправдания и самоосуждения. Формально монолог главного героя изменен на диалог с гувернанткой и ведется исключительно с целью рассказа прошедших событий. Оставлены удовлетворение и довольство неравенством (вместе с потребностью властвовать и контролировать). Оставлены безэмоциональная угнетающая холодность и расчетливость. Недоброе холодное внимание героя к жене выражается в постоянном наблюдении (взгляд героя – дознающий и подозрительный), что для девушки и становится невыносимым.

Кроткая изменилась сильнее. Брессон «добавил истории новый пласт». В характере возникло «сладострастие очень невинное и прямое» [Брессон 2017, 248]. Вначале девушка не хотела выходить замуж: «...в замужестве мне будет скучно» (далее без ссылок цитируются реплики героев из фильма). Герой выказывает настойчивость. Кроткая принимает замужество как данность и сразу сталкивается с невниманием и холодной необъяснимой расчетливостью мужа.

Мотивы прописаны пунктирно и в действительности не нужны для понимания фильма. Лучше сразу принять полное отсутствие мотивов. В фильме только настроения и мимолетные взгляды. Серия едва уловимых движений.

Посмотрим эпизод на ромашковом поле (за городом). Кроткая обнимает охапку ромашек и наблюдает отъезжающую с таким же букетом ромашек неизвестную счастливую пару. Садится в машину к мужу и с сожалением выбрасывает ромашки в окно. Муж ничего не замечает. Эмоциональность и настроение полностью держатся на характере девушки. Кроткая ждет и желает внимания и нежности (именно такую черту характера режиссер называет невинным сладострастием). Кому-то дарят ромашки (символ привязанности и любви). Безответная чувственность (совершенно не эротизированная) и невнимание мужа заставляют девушку искать свиданий (которые остаются все же невинными). В фильме сохраняется и ответное отторжение от мужа. Но даже в открытых ссорах нет прямой ненависти.

Главный герой исключительно ревнив. Ревность проявляется в постепенном все большем отдалении и дополнительном желании контролировать. Даже подаренные кем-то (скорее, просто принесенные) розы вызывают ревность. Кроткая любила цветы как знак

не-получаемого внимания. Чувства Кроткой всегда видны. Главный герой только рассказывает собственные чувства.

Основа сюжета. Брессон: «Я никогда не заходил так далеко во внешней невыразительности моих персонажей... я никогда так мало не описывал и не объяснял <...> построил весь фильм на сомнениях и неопределенности» [Брессон 2017, 256]. Основой сюжета режиссер выбирает неопределенность и безответность оставшихся без разрешения вопросов героя к мертвой жене. Любила ли... приняла ли любовь... была ли верна... Напротив, основа сюжета новеллы – самодознание главного героя и внутренняя борьба в поисках правды произошедшего.

«Я взял <...> только самое главное». Посмотрим, как режиссер решает последние сцены. Наутро после свидания с незнакомцем терзаемая виной и раскаянием девушка подает мужу чашку кофе (жест предельно акцентирован). Муж в ответ покупает отдельную кровать. После продолжительной болезни легкая ненависть и отторжение со стороны жены, мотивированные холодным отношением и невниманием, сменяются тихим молчаливым огорчением и отчаянием. Муж продолжает: «...казалась разбитой и униженной <...> жалел». Но одновременно «мне доставляло удовольствие наше неравенство». И совершенно как в новелле, вдруг слышит пение Кроткой. Испытывает сильное удивление. Выходит на улицу. Мы впервые видим сильный экспрессивный жест главного героя (от слез закрывает лицо руками). Тогда-то герой впервые понимает: «...я искал возможности только обладать»; «я хотел брать и ничего не давать взамен». Девушка плачет и пугается восторженной исповеди и обещаний новой жизни со стороны мужа – не отвечает и не может ответить на вдруг возникшую потребность мужа в телесной близости. Муж продолжает целовать. Кроткая просит: «Не мучай меня». Девушке мучительно воспоминание прошедшего (особенно – собственного свидания с незнакомцем) из-за ужасного надрыва. Мучает даже не возможная несостоявшаяся неверность (тогда бы раскаяние было взаимным и закончилось бы примирением) – ничто не может перейти надрыв и отчаяние. Нет выхода. Кроткая пытается сказать об абсолютном одиночестве и невыносимом душевном надрыве: «...каждая птица предрасположена петь свою песнь». Герой же не может увидеть пропасть одиночества другого человека и потому после смерти жены встречает собственное одиночество. Но вины больше никакой нет (и жена больше не ненавидит и не презирает мужа).

Прототипом Кроткой для Достоевского послужила одна молодая бедная девушка. Девушка выбросилась из окна с образом Бого-

родицы в руках: «...странная и неслыханная еще в самоубийстве черта» [Достоевский 1981а, 146]. Достоевский называет такое самоубийство кротким и смиренным. Без ропота и попрека. И Кроткая Брессона умирает без ненависти и без обиды. Брессон сохранил для зрителя горькое чувство растерянной жалости.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Аллен 2000 – Аллен Л. «Кроткая» и самоубийцы в творчестве Достоевского // Достоевский: материалы и исследования. СПб.: Наука, 2000. Т. 15. С. 228–236.
- Бахтин 2002 – Бахтин М. М. Собрание сочинений: в 7 т. М.: Языки славянской культуры, 2002. Т. 6: Проблемы поэтики Достоевского.
- Брессон 2017 – Брессон Р. Брессон о Брессоне (интервью 1943–1983) / пер. с фр. С. Козина. М.: Rosebud Publishing, 2017.
- Гроссман 1965 – Гроссман Л. П. Достоевский. М.: Молодая гвардия, 1965. (Жизнь замечательных людей).
- Достоевский 1974 – Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т. СПб.: Наука, 1974. Т. 10: Бесы.
- Достоевский 1981а – Достоевский Ф. М. Два самоубийства // Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т. СПб.: Наука, 1981. Т. 23: Дневник писателя за 1876 год. Май–октябрь. С. 144–146.
- Достоевский 1981б – Достоевский Ф. М. Приговор // Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т. СПб.: Наука, 1981. Т. 23: Дневник писателя за 1876 год. Май–октябрь. С. 146–148.
- Достоевский 1982а – Достоевский Ф. М. Кроткая // Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т. СПб.: Наука, 1982. Т. 24: Дневник писателя за 1876 год. Ноябрь–декабрь. С. 5–35.
- Достоевский 1982б – Достоевский Ф. М. Голословные утверждения // Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т. СПб.: Наука, 1982. Т. 24: Дневник писателя за 1876 год. Ноябрь–декабрь. С. 46–50.
- Мароевич 2018 – Мароевич Н. Повесть Ф. М. Достоевского «Кроткая» и вопрос самоубийства // Труды и переводы. 2018. № 1. С. 45–50.
- Pipolo 2010 – Pipolo T. Robert Bresson: a Passion for Film. Oxford: Oxford University Press, 2010.

Материал поступил в редакцию 19.05.2021

Материал поступил в редакцию после рецензирования 17.09.2021

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

- | | |
|-------------------------------------|--|
| Дружинин Андрей
Сергеевич | Московский государственный университет международных отношений.
Пр. Вернадского, д. 76, Москва, 119454, Россия.
Кандидат филологических наук,
доцент кафедры английского языка № 3.
E-mail: Andrey.druzhinin.89@mail.ru |
| Иванова Благовеста | Университет строительства и архитектуры «Любен Каравелов».
Str. Suhodolska, 175, София, 1373, Болгария.
Доктор искусствоведения (DSc),
профессор кафедры градостроительства,
теории и истории архитектуры.
E-mail: bg_fineart@abv.bg |
| Джаббаринасир
Хасан | Московский государственный университет международных отношений.
Пр. Вернадского, д. 76, Москва, 119454, Россия.
Кандидат политических наук (PhD in Political Science), старший преподаватель кафедры индо-иранских и африканских языков.
Института социальных и культурных исследований Министерства науки, исследований и технологий.
Pasdaran Ave., 1st Gulistan Str., 124, Тегеран, 1666914711, Иран.
E-mail: jabbarinasir@gmail.com |
| Костина Алина
Олеговна | Институт философии РАН.
Ул. Гончарная, д. 12, стр. 1, Москва, 109240, Россия.
Кандидат философских наук, научный сотрудник сектора социальной эпистемологии.
E-mail: alinainwndrln@gmail.com |
| Кутузова Анастасия
Александровна | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Проспект Вернадского, д. 82, стр. 1, Москва, 119571, Россия.
Аспирант кафедры политологии и политического управления.
E-mail: kutuzova-aa@ranepa.ru |

- Марков Александр Викторович Российский государственный гуманитарный университет.
Миусская площадь, д. 6, Москва, 125993, Россия.
Доктор филологических наук, доцент, профессор
кафедры кино и современного искусства.
E-mail: markovius@gmail.com
- Михель Дмитрий Викторович Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ.
Проспект Вернадского, д. 84, Москва,
11957, Россия.
Институт всеобщей истории
Российской академии наук.
Ленинский проспект, д. 32а, Москва,
119334, Россия.
Институт научной информации
по общественным наукам Российской
академии наук.
Нахимовский проспект, д. 51/21, Москва,
117418, Россия.
Доктор философских наук, профессор.
E-mail: dmitrymikhel@mail.ru
- Мозгунова Александра Дмитриевна Московский городской педагогический
университет.
Малый Казённый пер., д. 5Б, Москва,
119454, Россия.
Старший преподаватель кафедры
японского языка.
Московский государственный университет
международных отношений.
Пр. Вернадского, д. 76, Москва, 119454, Россия.
Аспирант кафедры японского, корейского,
индонезийского и монгольского языков.
E-mail: MozgunovaAD@mgpu.ru.
- Никифорова Лариса Викторовна Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой.
Ул. Зодчего Росси, д. 2, Санкт-Петербург,
191023, Россия.
Доктор культурологии, профессор кафедры
философии, истории и теории искусства.
E-mail: nikiforova_lv@list.ru

- Резник Олег Николаевич
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова.
Ул. Льва Толстого, д. 6/8, Санкт-Петербург, 197022, Россия.
Доктор медицинских наук, руководитель отдела трансплантологии и органного донорства научно-исследовательского института хирургии и неотложной медицины.
E-mail: onreznik@gmail.com
- Родин Кирилл Александрович
Институт философии и права Сибирского отделения Российской академии наук.
Ул. Николаева 8, Новосибирск, 630090, Россия.
Кандидат философских наук, старший научный сотрудник.
E-mail: rodin.kir@gmail.com
- Филас Виктор Николаевич
Хортицкая национальная (учебно-реабилитационная) академия.
Ул. Научный городок, д. 59, Запорожье, 69017, Украина.
Доктор исторических наук, доцент.
E-mail: filasvn@gmail.com
- Хадем Махсус Хоссейни Лейла
Независимый исследователь.
Тегеран, Иран.
Кандидат культурологии (PhD in Cultural Studies).
E-mail: leila.hosseiny60@gmail.com
- Шульман Екатерина Михайловна
Московская высшая школа экономических и социальных наук (Шанинка).
Газетный пер., д. 3-5, Москва, 125009, Россия.
Королевский институт международных отношений Чатем-Хаус.
10 St James's Square Лондон, SW1Y 4LE Великобритания.
Кандидат политических наук, доцент.
E-mail: daria.lieven@gmail.com

AUTHORS

Andrey S. Druzhinin	MGIMO University, Russian Federation. E-mail: Andrey.druzhinin.89@mail.ru
Victor N. Filas	Khortytsia National Academy, Ukraine. E-mail: filasvn@gmail.com
Blagovesta Ivanova	University of Structural Engineering and Architecture “Lyuben Karavelov”, Bulgaria. E-mail: bg_fineart@abv.bg
Hasan Jabbarinasir	MGIMO University, Russian Federation; Institute for Cultural and Social Studies, Ministry of Science, Research and Technology, Iran. E-mail: jabbarinasir@gmail.com
Leila Khadem- Makhsuos-Hosseini	Independent Researcher, Iran. E-mail: leila.hosseiny60@gmail.com
Alina O. Kostina	Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences, Russian Federation. E-mail: alinainwndrln@gmail.com
Anastasia A. Kutuzova	Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Russian Federation. E-mail: kutuzova-aa@ranepa.ru
Alexander V. Markov	Russian State University for the Humanities, Russian Federation. E-mail: markovius@gmail.com
Dmitry V. Mikhel	Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Russian Federation; Institute of Social Science and Humanities Information of Russian Academy of Science, Russian Federation; World History of Russian Academy of Science, Russian Federation. E-mail: dmitrymikhel@mail.ru

Aleksandra D. Mozgunova	Moscow City University, Russian Federation; MGIMO University, Russian Federation. E-mail: MozgunovaAD@mgpu.ru.
Larisa V. Nikiforova	Vaganova Ballet Academy, Russian Federation. E-mail: nikiforova_lv@list.ru
Oleg N. Reznik	Pavlov University, Russian Federation. E-mail: onreznik@gmail.com
Kirill A. Rodin	Institute of Philosophy and Law of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Russian Federation. E-mail: rodin.kir@gmail.com
Ekaterina M. Schulmann	Moscow School of Social and Economic Sciences, Russian Federation; Royal Institute of International Affairs, United Kingdom. E-mail: daria.lieven@gmail.com

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

Материалы для публикации в журнале принимаются в электронном формате через форму на сайте <https://praxema.tspu.edu.ru> в разделе «Разместить статью». Если у Вас есть вопросы, Вы можете связаться с редакцией журнала по адресу: Praxema@tspu.edu.ru

Информация о правилах оформления и размещения статей, критерии отбора материалов для публикации, редакционная политика журнала размещены на нашем сайте: <https://praxema.tspu.edu.ru/>

Правила для авторов. Порядок представления материалов к публикации: <https://praxema.tspu.edu.ru/praxema-for-authors.html>

Порядок рецензирования. Критерии отбора материалов для публикации: <https://praxema.tspu.edu.ru/praxema-review-procedure.html>

Публикационная Этика Издания. Принципы издательской этики: <https://praxema.tspu.edu.ru/praxema-editors-publisher-ethics.html>

INFORMATION FOR AUTHORS

All materials for publication in the journal must be submitted in digital format through the form on the website <https://praxema.tspu.edu.ru> in the Place Article section. If you have any questions, you can contact the editorial office at Praxema@tspu.edu.ru

Instructions for preparing and submitting manuscripts, selection criteria for the submissions, the principles of publication ethics are posted on our website: <https://praxema.tspu.edu.ru/en/>

Information for authors. Guidelines for preparing manuscripts for submission: <https://praxema.tspu.edu.ru/en/praxema-for-authors.html>

Peer-reviewing procedure. Selection criteria for submitted manuscripts: <https://praxema.tspu.edu.ru/en/praxema-review-procedure.html>

Editors' publication ethics. The principles of publication ethics: <https://praxema.tspu.edu.ru/en/praxema-editors-publisher-ethics.html>

